

ВОТ ОНО, НАЙЛУЛЬЯМЗ СЧАСТЬЕ

18+

Ирландское "Счастье" сделает вас
невероятно счастливыми.

CHICAGO TRIBUNE



Найлл Уильямс

Вот оно, счастье

«Фантом Пресс»

2019

УДК 821.111
ББК 84(4Ирл)

Уильямз Н.

Вот оно, счастье / Н. Уильямз — «Фантом Пресс», 2019

ISBN 978-5-86471-889-6

1957 год. В деревеньке Фаха в графстве Клэр, где ничто не менялось тысячу лет, грядут перемены. Во-первых, прекратился дождь. Никто не помнит, когда он начался: вечный дождь на западном побережье Ирландии – норма жизни. Но вот местный священник Отец Коффи возвещает приход электричества, и тучи, кажется, рассеиваются. Семнадцатилетний Ноэл Кроу проводит лето в Фахе у дедушки с бабушкой, и тут вместе с вестниками грядущего – электриками – появляется загадочный Кристи и приносит с собой громадную вселенную прошлого и тайн, которым предстоит раскрыться, а заодно много-много живой ирландской музыки. Найл Уильямз владеет техникой голографического письма, когда целый космос умещается в песчинку и этой же песчинкой выражается. В каждой фразе романа – макрокосм ирландской деревни, которая и есть вселенная, куда вотвот протянутся электрические провода. «Вот оно, счастье» – забавный, наблюдательный, иногда смешной и неизменно трогательный оммаж безмятежности, которую можно попробовать создать заново. Это роман о взрослении – и отдельных людей, и самого времени как такового. И, конечно, это роман о силе и власти людских историй.

УДК 821.111
ББК 84(4Ирл)

ISBN 978-5-86471-889-6

© Уильямз Н., 2019
© Фантом Пресс, 2019

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 13 |
| 4 | 19 |
| 5 | 26 |
| 6 | 28 |
| 7 | 31 |
| 8 | 35 |
| 9 | 39 |
| 10 | 43 |
| 11 | 49 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 56 |

Найлл Уильямз

Вот оно, счастье

Памяти П. Дж. Брауна (1956–2018)

Бури, которые нам пришлось пережить, – это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следовательно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка.

Мигель де Сервантес, Дон Кихот¹

Niall Williams
This Is Happiness

Copyright © 2019 by Niall Williams

© Шаши Мартынова, перевод, 2021

© “Фантом Пресс”, издание, 2022

1

Дождь прекратился.

2

Никому в Фáхе² и не упомянуть, когда он начался. Дождь здесь, на западном побережье, – условие жизни. Он лупил отвесно и сбоку, с левой руки и с правой, а также и со всех прочих рук, какие только мог удумать Господь. Налетал шквалами, волнами, иногда пеленами. Показывал себя в обличье мороси, бусенца, дымки, ливня, частого и редкого, волплым туманом, влажным днем, капелью, мокрядью, а также разверзшимися хлябями небесными. Приходил в день погожий, солнечный и обещавший быть сухим. Во всякое время дня и ночи заявлялся он, во всякое время года, невзирая на календарь и прогноз, пока одежда ваша в Фахе не превращалась в дождь, и кожа у вас – дождь, и дом – дождь с очагом. Дождь возникал из серого простора Атлантики, бросался на сушу, словно любовник, прежде отринутый и исполненный решимости более таковым не быть. Налетал вместе с чайками и запахами соли и водорослей. Налетал с холодным ветром и занавешенным светом. Налетал, каре подобный, или, в безобидном изводе, подобный благословенью, о даре коего Господь позабыл. Дождь приходил за платочком синего неба, верхом на вестах, иногда – чего б и нет? – на остах, в тучах, что ломали себе спины на горах в Керри и падали на Клэр, творя грязь из земли, ослепляя воздух. Под личиной града и ледяной крупы приходил он, но как снег – никогда. Являлся он иногда тихонько, иногда нежно, и копыа его превращались в поцелуи, таким дождем, какой делает вид, что и не дождь он вовсе, какой нисходит, чтоб стать поближе к полям, чью зелень любит он и пестует – пока не утопит.

Все это в подтверждение одной-единственной истины: в Фахе шел дождь.

Но теперь он прекратился.

Нельзя сказать, что в Фахе заметили. Во-первых, потому, что произошло это в начале четвертого в Страстную среду, и весь приход размещался, как бочковая сельдь, в Мужском, Женском и Длинном приделах тонущей церкви, все еще именовавшейся в ту пору в честь святой Цецелии. Во-вторых, когда прихожане выбрались наружу, умы их возвышены были латынью и страданиями Христа Спасителя, а все прочие мысли сделались потому незначительными. И в-третьих, так давно длился брак их с дождем, что они друг друга уж более не замечали.

Мне самому семьдесят восемь, и рассказываю я тут о том, что было шесть десятков лет тому назад. Понимаю, что Фаха в ту пору для обретения уроков жизни место неожиданное, но, по моему опыту, “ожидаемое” – это не из словаря Господня.

Так вот, тот мир, где двери на улицу днем никогда не закрывались, задние двери никогда не запирались, но снимались со щеколды и в них заходили по вечерам, – где ступал ты, с Божьей помощью, на выложенный каменными плитами пол в облако торфяного и табачного дыма, – тот мир исчез. И хотя кое-кто из тамошних людей – например, Майкл Доннелли, Делия Консиндин, Мэри Эган и Марти Бруган – отсрочили выезд на погост и пребывают в одиноких старых домах в глуши, в обители ревматизма, сырости и преодоления долгих вечеров, двери там прикрыты опаской и страхом ностальгии, природа которой едка. А раз уж сам я теперь тоже древен, отдаю себе отчет, что милостью творенья быстрее всего испаряются из памяти тяготы и дождь, понимаю, что между тогда и теперь, как между таинством и смыслом, есть, возможно, громадная брешь, и от мира, где живете вы, – вот от этого – тот мир, где прекратился в Фахе дождь в Страстную среду, может быть слишком далек, чересчур отодвинут во времени и нравах, и вам туда не проникнуть.

Потерпите меня сколько-то: у дедов мало привилегий, а у мысли о собственной никчемности большие аппетиты.

И сотня книг не в силах запечатлеть одну-единственную деревню. Это не напраслина – это свидетельство. Фаха – место не менее и не более приметное, чем любое другое. Если отыс-

² Скорее всего, от ирл. *fatha* – лужайка, поле. – Здесь и далее примеч. перев.

кали вы его, значит, направлялись куда-то еще. В стране полным-полно мест более откровенной красоты. Вот и славно. Фахе дела нет. Она давно смирилась с тем, что по части самобытности и географии судьба ее в том, чтоб миновали ее проездом, а затем тихонько и полностью забывали.

На дождь, стало быть, одновременно и невероятный, и доисторический, в долине, где поля слюбились с рекой, не обращали фахане почти никакого внимания. То, что дождь когда-то начался, уже стало легендой – как станет легендой теперь и его прекращение.

Известанный мир в ту пору не был столь четко очерченным, равно как и знание не приравнивалось к фактам. В своем роде скреплял человечество рассказ. Никак точнее объяснить это не смогу. Повсюду повествовали. Поскольку источников, где можно было что-либо выяснить, имелось меньше, слушали больше. Некоторые все еще рассуждали о дожде, стоя у кали-ток под моросью, глядели в небеса, предрекали грядущее – неточно и очень лично, словно все еще владели языком птиц, ягод или воды, – и обыкновенно люди потакали им, слушали, как сказ, кивали, приговаривали: “Да неужто?” – и уходили, не поверив ни слову, а только чтоб передать рассказанное, подобно живой валюте, кому-то еще.

Церковь в то время была не тем, что сейчас – или где сейчас. Стоило ризничему Тому Джойсу перейти улицу в костюме и при жилете, взобраться по двадцати семи ступеням на колокольню и ударить в тогда еще настоящий колокол – колокол, благословленный Епископом и слышимый в семи поселках прихода, – люди разом выходили из домов, и грешники, и святые. Все дороги в деревне заплотнялись велосипеды, лошади, повозки, трактора и пешеходы. Дороги в глубинке гудроном еще не заливали, а некоторые даже щебенкой не отсыпали. Та, что шла от дома моих прародителей, была грунтовая, утоптанная плотно и мягко, плотно и снова мягко, и проложили ту дорогу ноги, колеса и копыта, а посередке она выгибалась, как хребет, вдоль которого струилась жизнь поселка, бежала мимо открытых дверей, подбирая и роняя в том беге обрывки новостей, какими жило это место.

Вот так за час до Мессы возникало всевозможное столпотворение. Стоишь на пороге, смотришь на запад и видишь сплошь головы – в платках, кепках или шапках, – и плывут они над изгородами, словно воинство. В полях скотина, отупелая от дождя, вскидывала зачарованные бессмысленные свои морды, увешанные тяжкими вожжами слюны, словно питалась животное та жидким светом. Вереница людская, пешая, велосипедная и тележная, постепенно редела, цокот копыт задерживался на несколько минут дольше самих лошадей, но вот и цокот растворялся в зеленой тиши. Когда мимо в длинной комендантской шинели и джодпурах, присланных ему братом-генералом из Бирмы, проходил Сэм Крегг, часы у которого запаздывали и фактически, и метафорически, уже начиналось входное песнопение. На всех дорогах к приходу воцарялась полная тишина.

В Фахе водилось больше всякого, нежели сейчас. Лавки были мелкие, зато их имелось немало – бакалейная, мясная, скобяная, мануфактурная, аптечная и гробовая, все неумолимо отмеченные натурой владельца. За припасами ходили по крови и роду. Если в родстве состоял, хоть самую малость, с Клохасси или с Бурком – оба торговали одинаковыми чаем, мукой и сахаром, одними и теми же овощами трех видов и жестянками с непортящейся снедью, – у него покупки свои и делал. Проема дверного другому собою не затенял. Одна из привилегий житья в забытом месте – сохранять индивидуальность. В Фахе, где все срединное было далеко и почти неведомо, нормой было чудаческое.

Как заповедали им упрямство, неподатливость и традиция, мужчины рассаживались перед Мессой по двум подоконникам Прендергастова почтового отделения напротив церковных ворот, а те, кто запаздывал, удовлетворялись покатым подоконником Аптеки Гаффни. Фахский извод преторианцев, мужчины облачены были в коричневое и серое, в шляпы или кепки, но никаких дождевиков, хотя дождь уже усаживался им верхом на плечи и понуждал к ловке курения задом наперед, укрывая папиросу ладонью. Те мужчины были из мест, где от

уединения характер человека делается кристально прозрачным. Сомнений в том, что церковь они посетят, не существовало никаких, однако из-за трудного отношения религии к мужскому никакого пыла не выказывали они и таили всякую тень духовного с нарочитой небрежностью и мастерством в жизненно важном искусстве помалкивать.

Люди в Фахе еще не наострились парковаться. В ту Страстную неделю оставалось еще пять лет до того, как введут экзамен на права, а сверх них еще три года до первой попытки фаханина этот экзамен сдать. Имелось в приходе всего десять автомобилей. Водители запросто прикатывались примерно туда, куда направлялись, высаживали детвору, стариков и соседей – те благословляли с Богом автомобиль, когда забирались внутрь, и благословляли с Богом водителя, когда выбирались наружу. Если, как Пат Хили, кто-то застревал со своим автомобилем посреди дороги и там, где улица с безнадежной тоской устремлялась к серому языку реки, никто не мог протиснуться ни в ту ни в другую сторону, – какая разница, они все идут в церковь, и кляты пусть будут язычники.

* * *

Как и в Ковчеге, имелся в Святой Цецелии определенный неписанный порядок, согласно которому прихожане и входили в церковь, и усаживались. Поскольку во всякую неделю появлялись одни и те же люди, а посторонние и чужеземцы были здешним людям неведомы, можно было закрыть глаза и не сомневаться: Матью Лири, первый на вход, последний на выход, согбенный в первом ряду, темечко склонено, руки сложены молитвенно, бремя грехов его непостижимо и страшно; Мик Мадиган не входил, но по неизвестным причинам стоял под дождем у церковных дверей; словно явилась она прямо этим утром из дома, какой увидишь в музее Голода, торчал маленький очень прямой столп Мари Фалси на переднем ряду Женского придела, а в самом хвосте придела Мужского муж ее Пат шмыгал носом от постоянного насморка. Известно было и то, что миссис Пендер, у кого был самый чистый дом на весь приход (ныне Шон Пендер – прах), сидит вместе с семерыми Пендерами – те болтают ногами – возле Катлин Коннор, которую, говаривали, уже трижды миропомазали, а она все никак не отчалит в Рай, пока, люди поговаривают, не узнает, что ее муж Том в другом месте; на середине придела – семейство Коттер, высший свет, за ними Муррихи, все они пошли дорогой погибели и на ней почти нигде не задерживались; обок их или довольно близко – Фури, ученый Шон, тот ради любви умрет; в сторонке целый гордый ряд (Господь благослови труды) Макинерни, еще ряд застенчивых, но при этом не менее многочисленных Моррисси, все родились в апреле через девять месяцев после сенокоса, и у каждого в характере нечто летнее. Чуть дальше по Долгому приделу слева Лидди – Бриджет и Джером, с десятью ребятишками, коротающими ночи на трех кроватях в попытке укокошить друг дружку, а днем всем своим видом это подтверждающими. Невдалеке от них уйма Кланси, чье детство на вкус что слезы. Напротив них Ласи, четыре девушки, скрывающие хромоту свою от того, что донашивают туфли, из которых повыврастали, но вплоть до самого Рождества обувь никак не сменить. За девушками – Мик Бойлан, страдающий от неизлечимого недуга, имя коему Морин. В двух рядах за первым – Мона Клохасси, которую Том, когда понадобилась ему подмога в лавке, привез себе женою с какой-то преуспевающей фермы на севере. Том не дурак. Мона могла б игрушки в Китай продавать. За Моной – Мина-безделка. Дальше Коллинзы, Кинги, Девитты, Давитты и Дули, Джонни Мак, наделенный уродством, неотразимым для всех Хегарти, Томас Динин, отменный скрипач, да и более того, Динины – это вообще мистика, музыкальное семейство, всяк из них способен был взять любой инструмент и извлечь из него мелодию.

Посередке далее, не слишком близко ни к святым в первых рядах, ни к грешникам на задах, – доктор Трой и три его дочери-лебедушки, с виду такие, что казалось, будто не вошли они в двери, а *прилетели* из другого измерения, где к красоте люди поближе, чем в Фахе.

Возможно, благодаря дальним кровям, облачению, манерам или мистической нумерологии, где тройка – число божественное, одного присутствия этих трех хватало, чтоб возникали сами собою волны беспокойства. Влечение непрозрачно и загадочно, как луковица, но справедливо будет сказать, что в приходе Фаха красота этих девушек порождала мученье, перед которым не я один был беззащитен.

Больше о сестрах Трой ничего тут не скажу, вы вскоре с ними познакомитесь, но рад отметить, что даже теперь при их упоминании сердце в моей древней груди трепещет по-прежнему.

Женский придел вообразить удастся труднее. Но смиритесь со мною. Тогда как мужчины все без шляп, женщины все сплошь с головами покрытыми – напоминанием, быть может, о Вирсавии. Для некоторых женщин правило о покрытой голове – повод модничать, особенно для миссис Секстон, обзаведшейся целой коллекцией несусветных шляп, одна из них – некая экзотическая чудо-страна с холмом искусственных цветов, что высились Ост-Индией над хозяйкой шляпы, а венчала холм колибри, и когда отправлялась миссис Секстон к алтарной оградке, все это требовало значительного мастерства равновесия.

* * *

Кто-то сказал, что религия в Ирландии задержалась дольше, потому что мы народ с воображением и живо представляем себе картины адского пламени. Так оно, вероятно, и есть. Но вопреки всему, что со временем обнаружится и потребует внесения в церковные хроники, религия была тогда частью мирового порядка, и в церемониях и ритуалах ее имелось свое очарование. В ту Страстную неделю Святая Цецелия оделась цветами. Лица четырехфутовых более-менее подходящих друг другу статуй святых Петра и Павла, а также скрытого капюшном святого Сенана³ и статуи, поименованной святой Цецелией, покрасили к Пасхе, сколы заделали. Замечательная мастерица концертины миссис Риди отставила джиги и рилы, хмурилась и с суровой серьезностью играла на органе.

Курат Отец Коффи был в ту пору юн и по призванию влюблен в свой новый приход. Бледный и тощий, как гостия, он питал навязчивую страсть к “Мечу Уилкинсона”⁴ и сбрасывал с себя все до кровеносных сосудов. Имел вид начинающего святого и остекленелый взгляд человека, борющегося с собственной кровью. Но жил он тогда в неприкосновенной уединенности священства, а потому никто в Фахе никогда не сомневался в его благополучии, да и не задумывался о нем. В возвышенном пурпуре Пасхи в тот день располагался он на алтаре один. ПС⁵ Отец Том, когда сменил дьявола, в ту пору именовавшегося каноником Салли, – человек, в приходе обожаемый. Он выслушивал покаяния каждой души сорок лет кряду, и отпущение грехов его утомило. От накопленных в нутре у себя прегрешений паствы страдал он очередной грудной инфекцией.

Отдадим молодому Отцу Коффи должное: этот человек прослужит в приходе пятьдесят один год, вопреки привычной картине мира добра содеет больше, чем причитается одному человеку, дважды откажется от перевода в другое место, молча выстрадает наказания, какие нашьют на него из Дворца⁶, ради верности Фахе, где в позднейшие годы, не ушедшего на покой много после соответствующего возраста – пучки белой проволоки из ушей, четыре души на ежедневной Мессе, какую он служил в одних носках, поскольку при двух-то невромах Мортон

³ Святой Сенан (IV в.) – выдающийся мунстерский святой, миссионер, основатель множества монастырей по всему острову, один из Двенадцати апостолов Ирландии.

⁴ *Wilkinson Sword* (с 1772) – британская торговая марка бритв.

⁵ Приходской священник.

⁶ Имеется в виду дворец епископа.

ботинки мучительны, – его столько раз обворуют, что он начнет оставлять ключ во входной двери своего приходского домика, немного монет и еды на столе, пока не умыкнут и стол.

В ту Страстную среду Отец Коффи, спиной к пастве, закрыл глаза и возвел подбородок горе. Из недр горла своего выдал вверх жалобное “Те Деум”⁷, еще не ведая, что в тот самый миг небеса над ним расчистились.

⁷ *Te Deum laudamus* (лат., “Тебя, Бога, хвалим”) – христианский гимн, предположительно IV в.

3

В тот день в Святой Цецелии я не присутствовал. Мне было семнадцать. Я приехал из Дублина поездом, не то чтобы в немилости – мои прародители Суся и Дуна были слишком своенравными и ушлыми для такого, – но уж точно от милости вдалеке, если милость есть условие беззаботного житья на земле.

Каким был я в ту пору, описать непросто, Кроуовость во мне проявлялась по большей части в противоречии самому себе, натура моя – неравномерное нечто, колебавшееся между косностью и поспешностью, покоем и прыжком. Одним таким прыжком я очутился в щетиистой школе-пансионе в Типперэри. Другой забросил меня в тернистую суровость семинарии, а третий – прочь оттуда, когда я проснулся как-то раз посреди ночи от страха, какой не смог поименовать, но позднее счел страхом никогда, вероятно, не узнать, каково это – прожить сполна жизнь человеческую.

Что я об этом тогда думал, точно не скажу, но мне хватило здравого смысла понять, что чего-то недостает и что этого недостатка следует опасаться. Если правда то, что каждый из нас рожден с естественной любовью к миру, детство мое и образование искореняли ее. Я слишком боялся этого мира, чтобы его любить.

Оказалось, что войти в лоно церкви куда проще, чем покинуть его. Отец Уолш был моим духовным наставником. От природы у него были розовые младенческие губки, но кровь ледяная, как у окружного коронера. Чтобы семинаристы сохраняли целеустремленность, сам он поднаторел в уловках, маневрах и лукавстве. Его волнистые волосы, укрошенные студенистой помадой, были угольно-черны, кожа никогда не видела солнца. В комнате, отягощенной мебелью красного дерева, излюбленной среди людей религиозных, когда я сообщил ему, что ухожу, первой он применил тактику безмолвствования. Сложил длинные пальцы домиком – словно церквушка распадалась и ее нужно было стянуть воедино. Не сводил с меня глаз. Молча перебрал доводы, губки сжались, очки блеснули, и вот он пришел к удовлетворительному заключению. Кивнул, словно соглашаясь со старшим адвокатом. Затем объяснил мне, что на самом деле я *не* ухожу, что он будет считать меня в увольнительной, во временном затворе. В жизнях святых было много таких случаев. Он не сомневался, по его словам, что я, увидев, как оно “там”, вернусь еще более приверженным. Встал, прижал кончик языка губами, протянул мне свою холодную руку и экземпляр Августиновой “Исповеди”.

– Господь с тобой.

Я тогда жил в глубочайшем одиночестве. Не знаю точно, почему и как случается, что человек оказывается на обочине жизни, но именно там я и был. Целиком противоположен уверенности в себе. Никакой точки опоры не находил я себе на земле и никак не видел, куда бы приткнуться.

Вернулся из семинарии домой в Дублин – сплошной оголенный нерв и смятение. Отец мой, сознательно бунтуя против собственной крови Кроу, во всем был очень тщателен. Немногословен; короткие густые брови – черточки Морзе, из-за которых вид отец имел непроницаемый. Отцы наши – тайна, какую постигаешь всю свою жизнь. После смерти моей матери он взял положенные три дня отгулов, общепринято отгоревал, а затем вернулся в излюбленное свое чистилище – Министерство, где легионы мужчин в серых костюмах деловито изобретали Государство по образу и подобию своему. В те времена такова была расхожая глупость – считать собственного отца недостижимым. Я не пытался дотянуться до него еще двадцать лет, вплоть до того года, когда он взялся помирать, – тогда-то я впервые в жизни и назвал его по имени. Теперь я старше, чем он был, когда умер, и ценю то, чего, предполагаю, стоило ему оставаться в живых. Это не очень-то ухватишь, сдастся мне, – пока не проснешься стариком или старухой и не придется пробираться дальше. В наше время мы отцами своими проника-

лись недостаточно. Как сейчас – не знаю. Проникаюсь им и произношу его имя, Джек, теперь, когда он умер, – такая вот блажь, какую старики себе позволяют. На пользу ли ему это, мне неизвестно. Мне же самому иногда немножко помогает.

* * *

Я тогда сколько-то недель просидел дома, а он вернулся к работе. Но есть в томительном послепопуденном свете такое, от чего бытие распускается по швам. В нашем опустевшем старом доме на Мальборо-роуд все, что примётывало меня к этой жизни, расплзлось, и настигло то самое чувство, какое легло мне на спину именно там, где не сумели распахнуться крылья.

* * *

Иногда я думаю, что в молодости для человека хуже всего – не находить ответа на вопрос, что делать с доставшейся ему жизнью. По временам ответ словно бы на кончике языка, но не то, что возникает следом. Вроде такого. Теперь могу сказать, что другой вариант того же самого случается в старости, когда понимаешь, что раз прожил так долго, то наверняка что-то понял, и потому перед рассветом открываешь глаза и думаешь: “Что же я понял? Что я хочу сказать?”

Не в силах больше оставаться дома, не имея ни денег, ни другого пристанища, я тем апрелем отправился в Клэр к дедушке с бабушкой, в их длинный приземистый дом на ферме, где исходно было три комнаты, затем четыре, потом четыре с половиной и, наконец, вроде как пять, когда плодovitость взяла верх над прозорливостью и на белый свет ринулись двенадцать братьев Кроу – мои дядья-сорвиголовы, чей первый рывок в мир не закончился тем, что они прибрали к рукам все кубки, медали, значки и призы в Фахе; этот рывок длился, покуда все, кроме моего осмотрительного отца, не разметались, по словам Дуны, по двенадцати углам мира. Там они подряжались лихими штукатурами, беззаботными трубоукладчиками, громоздителями кирпичей, неотесанными плотниками, лихачами-водителями автобусов, а в одном невероятном случае – чикагским полицейским, но ни разу не сходились они вместе, пока не вернулись в Фаху в знаменательный день Дуниных похорон, когда обнаружилось, до чего много у Дуны друзей.

С тех похорон такое воспоминание: у Дуны был любимый пес, которого он звал Джо, и – с той легкостью, с какой прирожденно распознают собаки людскую доброту, – Джо равную любовь питал к Дуне. Джо был мелкой смешанной черно-белой овчаркой примерно ста лет от роду, если мерить в собачьих годах, но справедливо сказать, что пес знал подноготную Дуниного духа лучше любого живущего. В день похорон Джо оставили в доме, он лежал на вязанной крючком подушке, какую давно уже научился стаскивать с Дуниного кресла, на что Суся давно бросила сетовать. Черная туча дядьев, двоюродных, ближних и дальних, соседей и двоих Конафри, привлеченных по долгу службы в “Гробовщиках Карти”, наконец выплыла во двор. Последний, дядя Питер, велел Джо сторожить дом, запер дверь с собакой внутри и, вскинув голову, отправился вслед за отцом в церковь.

В конце службы братья по очереди несли гроб прочь из Святой Цецелии и вниз по горемычному склону Церковной улицы. Собрался весь западный Клэр. И когда процессия достигла поворота возле Мангана, Джо сидел там и ждал. “Вон Джо Кроу”, – сказала Мари Брин, и без всяких там “позвольте” и приглашений пес снялся с места, примкнул к погребальной толпе и шел до самого погоста, где и остался до конца того дня. Богом клянусь.

* * *

Пусть всякий раз, приезжая в Фаху, я обнаруживал, что она сделалась меньше и беднее, чем какой видело ее мое детство, но ощущение от Фахи как от прибежища осталось.

Дом Суси и Дуны стоял на склоне в одном поле от реки. Возводили его впопыхах, говорил Дуна: предки крали камни из стен управляющего Блэколла, когда тот выезжал на север в Лейнстер.

Построили в луже, приговаривала Суся, потому что предки его – лягухи.

Дуну – коренастого и почти безупречно округлого мужчину, в глазах всегда близко смех, клочковатая шевелюра, словно паричок на футбольном мяче, – Господь наделил большими ушами, какие дарует старикам в знак наличия чувства юмора, необходимого при творении. Возможно, собственная физиогномика подсказала Дуне его философию: жизнь – комедия. Как тот резиновый болванчик, какого никак не сбить с ног, философию его никак было не оспорить, и, вопреки веским доводам самой жизни, он настаивал на той веселой беззаботности, что достаточно успешно гасила кислятину разочарований. (Быть может, получалось это не вполне само собою: в свое время я обнаружил, что канавы вокруг дома – кладбище синих склянок из-под белой магнезии.)

Суся когда-то давно была девушкой по имени Анье О Шохру и перебралась сюда из-за реки и горы, с полуострова Айврах в Керри. *Зачем – никак не возьму в толк.*

“Дуна”, как я понял, означало на моем младенческом наречии “Дедуня”, ему это полюбилось, и всю его жизнь я называл его только так и никак иначе, а вот Сусе – это прозвище, видимо, произошло от моей соски – принять свое прозвище удалось не без труда. Пусть и была она матерью двенадцатерых, заботливость явной чертой ее натуры не казалась. Но женщины глубже мужчин, поэтому так рассуждать несправедливо. Правда же то, что ради выживания она отрясла с себя всякую поверхностную мягкость, практична была в той же мере, в какой супруг ее был непрактичен, а к причудливым, завиральным и грандиозным планам мужчин в целом и Дуны в частности терпения имела немного.

У Суси был узкий подбородок с торчащими волосками и буроватая кожа – ее мать в Керри курила трубку и выдула на белый свет семерых смуглых младенцев не крупнее табачного колечка. Суся зверски обожала свежий воздух. Свежий воздух – лекарство почти от всего на свете. Она ходила гулять. Сусины ботинки – из старины, с квадратными каблуками, с черными шнурками, опрятно вдетыми крест-накрест. Обувь любых дедов – бесценная тайна; возьмите их в руки: они какие-то иноземные и нежные, и как раз у Суси они были именно такие – начищенные и изношенные, перепачканные и мокрые и вновь начищенные с той человеческой решимостью, что меня трогает неизъяснимо. Она ходила в тех ботинках, пока дороги не протапывали их насквозь и не возникали на подметках два темных рубца, после чего туфли отправлялись к сапожнику Джеку на другой край деревни, Суся влезала в Дунины шумные башмаки, но гулять к реке по вечерам отправлялась все равно.

То был мир святых, и люди знали дни тех святых и чей праздник на какой день приходится, и из целой их галереи народ выбирал себе любимцев. Сусин требник распирало от завсегдатаев – Антоний, Иуда, Иосиф и Франциск, – но имелся и кое-кто менее известный – святая Рита, святая Димфна и святой Перегрин, а также личная подборка святых на Крайний Случай. Признаюсь, кое-какие следы этого остались, не смытые временем, и во мне. Святой Антоний нередко отыскивает мне очки, бумажник и ключи. Зачем он вообще их забирает, сказать труднее.

Суся копила святых как страховки, но тыл их прикрывала заступниками еще более древними, в том числе – луной и звездами. Из чугунного котелка всяких припарок и *пишигов*⁸ черпала она: кашель можно лечить лягушкой, от головной боли нужно жевать кору боярышника, рябина приносит удачу, лук-порей в кухне уберегает дом от пожара.

Она тайком тревожилась за исчезнувших своих детей, теряясь в неведомых историях из краев, что в ту пору были далеким невесть где. Водилась в ней и печаль, присущая любому керрийцу, когда тот не в Керри, но ей Суся противостояла сочинительством бесчисленных писем. На каждое письмо уходило по несколько дней, ныне утраченное искусство композиции в ту пору – норма учтивости, и листки промокательной бумаги с отпечатками написанного подтверждали рукодельную суть сотворенного, прямо из рук в руки. Те письма Суся писала до самого своего последнего дня, указательный палец в чернилах, с постоянной мозолью от пера. Корреспондентов у нее было много. Среди них – тетя Ноллаг, та уехала в Америку и превозмогла физику пространства тем, что писала все мельче и мельче на одинокой страничке аэрограммы, и натура тети Ноллаг тут же являла себя, стоило Сусе осторожно провести ножом вдоль пунктирной линии и поднести к свету написанное, на полную расшифровку которого с помощью Дуниной лупы требовался не один день. Сусины же депеши отправлялись за реку и за горы, ответные сообщения бывали прочитаны по несколько раз, после чего их возвращали в конверты и хранили в обложенном фольгой чайном сундуке с оттиском “ЦЕЙЛОН”, где в чернилах, бумаге и почерках хранилось некое внутреннее Керри, и посещать его было проще, чем всамделишное.

Не так давно – отчасти из любви, поскольку знал, как Суся тоскует по дому, а отчасти из шкурных интересов, потому что не мог устоять перед новомодным, – Дуна продал корову и тайком заказал проводку в дом телефона. То был первый телефон не в самой деревне, номер у него был ФАХА 4, а доставили и установили его два обутых в сапожищи телефониста из Милтаун-Малбея, они же совершили и первый звонок – к миссис Прендергаст, дежурившей в деревне на коммутаторе; один показал Дуне большой палец, когда миссис Прендергаст приняла вызов, и прокричал в трубку нечто деревянное, так в один прекрасный день, возможно, станут разговаривать на Марсе. На боку у телефона имелась ручка завода, а на полу, как у карикатурных бомб в комиксах, – здоровенный аккумулятор, из которого шли провода.

План Дуны не сработал. Телефон Суся возненавидела. Сперва спросила, как за него платить. На что Дуна дал свой фирменный ответ на любую неопределенность: “Разберемся”, что взбесило Сусю похлеще, чем коркцы. Следом ее выводило из себя то, что аппарат беззвучно висит на стене, словно черное подслушивающее ухо; Суся накрывала его кружевной салфеткой и первые несколько недель разговаривала вблизи от аппарата шепотом. Было постановлено, что телефоном надлежит пользоваться только в случае крайней нужды, что на Сусином языке означало “похороны”. Когда явился с очередным визитом Отец Том, его попросили благословить аппарат. Не желая показать, что у науки есть ответы там, где у религии таинства, он символизировал благословение – молитву Архангелу Гавриилу, святому покровителю посланников, который ныне, сказал Отец Том, отвечает за телефоны. Суся послала телефонный номер письмом в Керри, и когда аппарат впервые подал голос прерывистым пульсом, Суся, не успев снять салфетку, уже знала, что недужная тетя Эи ушла в иной мир. Этот зловещий призыв оставался у телефонного звонка до тех пор, пока не разошелся слух и на пороге не начали появляться соседи и жители окрестностей – позвонить. Дом превратился в своего рода неофициальное дополнительное отделение связи без рабочих и нерабочих часов, и стало совершенно обычным видеть на табуретке у окна в гостиной кого-нибудь, кто орал в трубку новости о чьей-нибудь кончине или хворой корове, а за сосновым столом рядом шла игра в карты или в шашки. Может, первые несколько раз – то ли Муреанн Моррисси, то ли Норин Фури – и

⁸ От ирл. *piiseog* – заклятье.

предлагали за звонок пару пенсов, но Дуна пожал плечами и предложение не принял: за тары-бары-то какая плата. Но ко второй неделе Суся поставила на подоконник здоровенную банку из-под варенья, бросила в нее несколько своих трехпенсовиков, звонившие поняли намек, и когда прислали телефонный счет, он был оплачен.

О бабушке своей могу сказать, что она была свидетельством непрозрачности человеческой. Маленькая, но жилистая, с серо-стальными волосами, которые я видел исключительно собранными в пучок – вплоть до того дня, когда расчесали их и тем вернули Сусе лет тридцать, когда наконец проиграла она свою героическую битву со всемирным тяготением. Ее положили в гостиную, на лице у Суси играла призрачная, но заметная улыбка – возможно, потому, что, сидя у гроба в похоронном костюме из “Бурка”⁹, сияя штиблетами и в сединах, каких едва хватало, чтоб было что причесывать, Дуна смотрелся как Спенсер Трейси¹⁰, и Суся осознала, что за сорок лет брака она почти вышколила его. У нее были крупные, но ловкие руки, тощие ноги при могучих бедрах. Суся носила платье-передник без рукавов, синее или красное, и круглые очки, за которыми глаза ее делались громадными и временами придавали ей вид как из сказки. Чтобы защититься от отчаяния, она в юные годы решила жить в ожидании конца света – тактика вдохновенная: если его ожидать, он толком никогда не наступает. В равных долях была она христианкой и язычницей, никогда не произносила “Боже правый” без легчайшего намека на иронию и не видела противоречия в том, чтобы выдать мне мой первый скапулярий и сообщить, что если не буду носить его, меня заберет *пука*¹¹.

В речи ее намешано было и ирландского, и слов на полпути из языка в язык, и в смеси этой все они прижились, пусть и странными были, как терновая ягода, то есть упоминала она не только о *гавале* торфа или *бярте* сена, но говорила, что небо не просто облачно, если о нем говорят *скамаллах*; слыша целый ряд описательных слов настолько звукоподражательных и точных, я, пусть и не зная их перевода, так или иначе понял, что Хенли *бодахан* – ужасный коротышка, что *броковатое* лицо Герри Колгана все изрытое, в тених, как у барсука, вялый увалень Лиам О Лери – самый что ни есть *людраман*, Мариан Бойлан – чванная *смылькяхан*, а у Шилы Салливан сынуля – *пришлинь*, вечно со рта течет¹².

Брак моих прародителей вовсе не был идиллическим – по многим причинам и, в частности, потому, что Дуна не вполне понимал, что такое “деньги”. Точнее, он не верил в их существование; по его словам, его жизнь все никак не предоставит тому доказательств.

– Другой бы мужчина постыдился говорить такое, – сказала Суся, – но не твой дед. У твоего деда нету принципов.

– Ох ты Есусе, они есть, Ноу, – улыбался он обиженно, круглое лицо обращал ко мне, держался за свои подтяжки. – Но принципы у меня со строчной “п”. Таким манером можно и дальше любить ближнего своего. – Подмигивал мне; Суся фыркала от отчаяния и отпирывалась обметать от пыли трюмо древним гусиным крылом.

Они жили разногласиями, и нередко разногласий случалось несколько разом, и приходилось быть начеку, чтобы, когда Суся выкрикивала “Вода!”, понимать, что у Дуны капает с рук, он их не промокнул тряпицей, “Сапоги!” означало, что Дуна не вытер ноги, “Шкап!” – что Дуна не закрыл дверцу буфета: “Вот бы никаких дверей нигде не было? Ты мне это хочешь сказать? Открой все двери – и вот тебе грязь, вот тебе пыль, вот тебе мыши – и приехали. Этот человек не успокоится, пока у нас в одежде *шкиханы*¹³ не заведутся”.

⁹ *Patrick Burke Menswear* (с 1928) – ирландский магазин одежды в Эннисе (Инише), графство Клэр.

¹⁰ Спенсер Трейси (1900–1967) – американский актер, два года подряд получал “Оскар” за лучшую мужскую роль.

¹¹ Пука (ирл. *púca*) – существо кельтской мифологии, природный дух-оборотень.

¹² Гаваль (ирл. *gabhail*) – здесь: припас, добыча; бярт (ирл. *beart*) – вязанка, охапка; скамаллах (ирл. *scamallach*) – облачный; бодахан (ирл. *bodachán*) – уменьш. от: грубиян, мужлан; брок (ирл. *broc*) – барсук; людраман (ирл. *liúdrámán*) – лентяй; смылькяхан (ирл. *smuilceachán*) – зазнайка, задавака; пришлинь (ирл. *prislín*) – слюни.

¹³ Шкихан (от ирл. *sciathán*, крыло) – вездесущее в Ирландии насекомое златоглазка (*Chrysopidae*).

Но во всем этом Дуна хранил равновесие беспристрастного, и не удавалось его ни распалить, ни раздражить. Таков был театр их брака, а в Фахе это еще и зрительский вид спорта, и многие вечера Бат, или Мартин, или Джимми, бывало, поднимали щеколду и заглядывали на огонек, хохлились над непроглядно крепким чаем в кружках и созерцали, а в объявленных антрактах стряхивали пепел приблизительно в очаг.

Дуна, сам себе отдельный мир, оставался вне всякой политики. Вооружившись лупой в серебряной оправе, сидя у окна, подставляя страницы дневному свету, он читал по книге в год – “Альманах старого Мура”¹⁴, где находил все объяснения, в каких вообще нуждалась Вселенная.

Человеком он был невозможным, как сказала бы Суся. И пусть она, по-моему, действительно так считала и пусть частенько велела ему не путаться под ногами, пока метлой не приложила, а временами он сокрушал ей сердце, я не уверен, что знал пару более супружескую. Вот образ их союза: первым делом поутру Дуна выманивал огонь из углей и закладывал на решетку свежий торф. Полчаса спустя, когда Дуна отправлялся во двор ухаживать за животной, Суся брала щипцы и перекладывала торф по новой – так, как ему положено лежать. Ни слова о том не говорила – и Дуна ни слова не говорил. Огонь жил себе дальше.

Конечно, экономики их жизни я в ту пору не понимал, не осознавал, что четыре коровы – это не доход, огород и куры – не просто сельские досуги, а у того, почему Дуна мастерил и прилаживал в доме все кривенькие двери и окна сам, есть причины. Не понимал, почему все починялось не по учебнику и не целесообразно, и хотя все Дунины прихваты приводили к непредвиденным неувязкам, он продолжал их применять, а также почему ныне утраченное искусство штопки в их мире было необходимым, словно жизнь постоянно расползалась по швам и творила бреши в их хозяйстве, и Суся, то снимая очки, то надевая, то снимая вновь, при свете парафиновой лампы возилась с пряжей и нитками, не сочетавшимися по цветам и зачастую “вырви глаз”, латая локти, колени, зады и манжеты – везде, где были у Дуны углы, приходилось крыть заново, уж так перло из него жизнелюбие.

Сказать начистоту, куда позднее в собственной жизни смог я оценить, каких уловок и жертв требовали под гнетом житейских обстоятельств независимость и несгибаемость.

¹⁴ *Old Moore's Almanac* (с 1764; исходно *The Irish Merlin*) – старейший из публикуемых до сих пор ирландских альманахов, основан преподавателем ирландского, английского, латыни и греческого, а также астрологом и математиком Теофилом Муром (ок. 1730 – ок. 1809).

4

Правду Суся говорила: дом и впрямь подошел бы лягушкам. Если не считать фартука вокруг открытого огня, в доме почти всюду было вечно сыро. Из-под буфета перли бледные грибы, с подоконников капало, а после полуночи, когда огонь в обширном открытом очаге притихал, когда кудель паутин окутывала балки, возникало ощущение, что все почти-пять комнат тоскуют по реке всего лишь за полем.

В раннем детстве я приезжал сюда часто – сперва с родителями, когда, помню, посреди дня случались долгие суматошные обеды, гусь и буженина разом, здоровенная лохань суровых на вид мучнистых картофелин в полопавшихся мундирах – в Дублине у картошки мундира не водилось, – молоко не из бутылок, а из толстого, кремового и пенившегося у горлышка сосуда, который Суся именovala банкой, на самом же деле то был эмалированный кувшин, остужаемый в самодельном холодильнике – обложенном плиткой никогда не растапливаемом камине в гостиной. Морковка, пастернак – на Мальборо-роуд пастернака не бывало, – сливочное масло, не имевшее ничего общего с тем, что именovali маслом мы; такой вот пир горой, заставлен каждый дюйм стола и буфет, Суся мечется туда-сюда за тем, что Дуна забыл, и сама, кажется, не присаживается вовсе. Трапезе добавляли вкуса посредством неискоренимой мяты, росшей, как борода у старика, между растрескавшимися каменными плитами на задах, или разнообразием всеcезонного лука, коего милостью или провидением Господним в Фахе всегда хватало с избытком. Но, возможно, Суся лезла из кожи вон, потому что ее мать не передала ей навыка, а может, потому, что жизни по нраву пускать все людские усилия насмарку, – так или иначе, кухарка из Суси была никудышная, о чем Дуна не просто никогда не заикался, а совершенно отmetал, расхваливая и кремированные свиные отбивные, и жилистый бекон, и засушенную курицу.

И все равно, когда б ни приезжали мы, питаться где-то еще не было никакой возможности. Щедрость к гостям – неизлечимый недуг западного Клэр, и пусть на западе то была пора уныния, когда пустели дома, а на дорогах витала печаль отъезжающих, *Радущие* оставались своего рода конституционным законом. Мои прародители, как и все тогдашние старики в Фахе, следовали древним правилам учтивости. Какова тому цена, каково предстоящее им житье после того, как мы уедем, – на это никак не намекали, а я и не задумывался.

* * *

А потом, когда мама в Дублине упала впервые, меня выслали, как бандероль, к старикам – первый раз из многих. Ничего необычного. В ту пору детей по стране гоняли изрядно: младенцев, рожденных у изможденных матерей или у юных девиц, отправляли к тетушкам – старым девам, некоторых, чтоб уберечь от зверств нищеты или алкоголя, передавали временным опекунам, и иногда этих опекунов дети начинали считать своими родителями и тем вплетали свои судьбы в скрытую от посторонних глаз путаную историю того времени. Люди старались следовать учению Церкви, но род человеческий таков, что воздержание не справляется с желанием, а потому дети всё рождались и рождались.

Мне было семь. К курточке моей пристегнули булавкой белую карточку с надписью “НОЭЛ КРОУ” и моим адресом. Меня сопровождала Мать Аквина, крупный черно-белый альбатрос, и от нее пахло “бычьим глазом”¹⁵. Мать Аквина была маминой родственницей. По той линии было несколько священников, монахинь и миссионеров, исчезнувших в Африке, за кого

¹⁵ *Bull's Eyes* – разновидность карамели, традиционная сладость, которую начали производить в Великобритании по крайней мере не позже начала XIX в., чаще всего в черную и белую полоску, с мятным вкусом.

нам полагалось молиться, как говорила мама, и при этой ее мягкости взора и голосе агнца я, мальчишка, в словах ее не сомневался.

В Матери Аквине ничего от агнца не было. Она сгодилась бы как запасной кандидат на командование силами Союзников. Направлялась она подышать морским воздухом вместе с Сестрами милосердия¹⁶. Этой женщине море по колено, я бы сказал. Словно впереди нас поджидала некая существенная опасность, Мать Аквина сотворила над нами молитву-щит, черные четки обвили ей пальцы. Кондуктор заглянул к нам и тут же сдал назад.

Путь из Дублина – это целый день и несколько тарахтящих проездов, каждый следующий меньше предыдущего, и прибытие в итоге казалось сомнительным, а страна – громадной. Все едешь и едешь на запад, но, вопреки математике и географии, ехать приходится все дальше и дальше. Мальчишки в ту пору росли на ковбойских историях. Нет уж тех игрушечных пистолетов, но у меня в тогдашнем картонном чемоданчике хранился маленький серебристый “кольт-45” и “мустанг” с черным стволом. Ружье “винчестер” пришлось оставить дома. И вот, когда Мать Аквина вышла из купе, чтобы выяснить, какие такие проволоочки задерживают подачу чая, я прижал лоб к стеклу и прикинул, с какой скоростью апачам пришлось бы гнать коней, прежде чем какой-нибудь Великий Воин соскользнул с коня, забрался б на вагон и кинулся с томагавком на Мать Аквину.

В Эннисе произошла долгая заминка. Нам предстояло пересесть на узкоколейную Западно-Клэрскую железную дорогу. Паровоз и поезд уже были на месте, а машинист – нет.

Мы зашли в свое купе и сели. С нами оказалось еще пять пассажиров, один из них – курица.

По-моему, плоский черный глаз курицы отвадил Мать Аквину от чтения “Славных тайн”¹⁷.

Снаружи дождь и лил, и не лил. То есть угольный дым не пер кверху, а завивался внутрь вагона, где другим пассажирам казался старым приятелем. Мать Аквина открыла окно, однако воздух уже сделался едким, да и пальцы вымазала черным.

– Ничего не трогай.

Наши попутчики, все изрядно замурзанные, при виде монашеского одеяния ожидаемо робели.

Мы сидели в поезде, который никуда не шел.

Наконец Мать Аквина, считавшая терпение переоцененной добродетелью, потянула меня за руку, мы сошли с поезда и зашагали по перрону.

– Вы, – произнесла она, обращаясь к низкорослому носильщику, облаченному в мундир человека выше его на два фута. Мундир был черный – или стал черный, – брюки обвисли на коленках и ниспадали гармошкой на сапоги. Все обтерхано, зато фуражка крепка – и с блестящим ремешком. Фуражкой носильщик гордился несусветно. – Почему задерживаемся?

– Ожидаем машиниста, мэм, – вымолвил носильщик и козырнул, чтобы подчеркнуть собственную значимость.

– Уж не вымыслен ли он? – уточнила Мать Аквина.

Носильщику известно было, сколь широк разброс задаваемых публикой вопросов, и потому он осмыслил вероятность выдвинутого предположения.

– Нет, не вымыслен.

– Так где же он?

¹⁶ “Сестры милосердия” (осн. 1831) – ирландская католическая женская монашеская конгрегация, учрежденная в Дублине Кэтрин Элизабет Маколи.

¹⁷ “Славные тайны” (лат. *Mysteria Gloriosa*) – тексты, входящие в состав молитв розария, в этих текстах прославляется Христос, через которого и вместе с которым христиане стремятся к вечной жизни; одна из четырех групп тайн в молитвах розария.

– В том-то и дело, – отозвался он и повторно прикоснулся к фуражке. – В том-то и дело, сестра.

– Матушка, – поправила она носильщика и вперила в него свирепый альбатросский взгляд. Носильщик склонил голову, и нам теперь стал виден только околыш. – Другой машинист есть?

Голова поднялась.

– *Другой* машинист?

– Этот, очевидно, не под рукой.

– Ой нет, – ответил носильщик. – Очень даже под рукой.

Мать Аквина вперилась в него. Он слегка поправил фуражку.

– Который час? – спросила она, показывая на цепочку от часов, свисавшую улыбкой у него на жилетке.

Ответ он предоставил с удовольствием:

– Четверть пятого.

– И в котором часу по расписанию поезд должен отправляться?

– По Новому времени или по Старому? – переспросил носильщик.

Мать Аквина вытаращилась. Носильщик уже собрался втолковать ей, как в свое время мне Дуна, что во Вторую мировую войну Ирландия сбилась с шага с остальным миром. Британцы с захватывающим дух превосходством ввели нечто под названием Двойное Летнее Время, сдвинув стрелки на *два* часа вперед, чтобы получился рабочий день подольше. Ирландцы так делать не стали, а Дублин был, есть и всегда будет на двадцать пять минут и двадцать одну секунду отставать от Гринвича, а поскольку западу Клэр положено отставать еще больше, говорил Дуна, разумно считать, что часы здесь – не истинное мерило времени.

Судя по виду, носильщик собрался разъяснить эту невнятность, но тут появился машинист.

Он вел за собой на веревке белого пони.

– Ну не красавец ли? – спросил он, минуя Мать Аквину, вскинув руку, чтобы охранительно прижать меня к станционной стене.

Пони был хорош, но нервный, как моя двоюродная бабушка Тосси. Так или иначе, машинист не обратил ни малейшего внимания на его взбрыки, прыжки и общую судорожность, открыл дверь в вагон – и вот уж, “хоп-хоп”, пристукнув копытами, пони оказался внутри, привязан, голова торчит в открытую форточку, как у любопытного пассажира.

– Отправляемся, сестра, если вы готовы, – сказал машинист, проходя мимо нас, и запрыгнул на локомотив.

В тот миг моя дуэнья утратила дар речи.

– Матушка, – тихонько проговорил носильщик тоном смирения и извинения, тронул фуражку и удалился прочь по перрону, дабы исполнить свою официальную обязанность – подать сигнал к отправлению.

* * *

Две Сестры под скорбными черными цветками-зонтиками встречали Мать Аквину на станции Мойаста-узловая, где не было ни деревни, ни города, а в самом конце самой извилистой железнодорожной ветки на свете сходил с поезда в Вайоминг повышенной влажности. Дождь не то чтобы лил. Дождь в Клэр перекликался с ветром – всех мастей, без разбору – и прилетал откуда мог, своенравно.

Поначалу посылка в виде мальчика при Матушке, видимо, встревожила Сестер. Но милосердие – их специальность. Они усадили меня на мешок с мукой и удалились.

Встречать меня должен был Дуна. Он решил, что это потешно – спрятаться от меня, когда поезд отойдет.

Поезд с пони – единственным оставшимся пассажиром – наконец с натугой тронулся. Машинист козырнул мне из кабины и, выкрикнув “Пони-экспресс!”¹⁸, с тем же безмятежным видом неистощимого веселья уехал.

Когда поезд ушел, я слез с мешка и отправился по перрону под, как мы его далее станем именовать, тихим дождиком. Короткие штанишки, белые носки, сандалии, хохолок и синий картонный чемоданчик с моими пистолетами и шестинедельной подборкой выпусков “Сорванца”¹⁹ – я выбрался на дорогу к Килки. Толком не уверен, что знал, куда направляюсь, но, определенно, двинулся именно туда.

Мой дед с восторгом отметил, что, вопреки тщательности моего отца, ему только что было явлено своеобразие семейной генетики.

Наверное, в любом детстве найдутся потайные места, где человек обнаруживает свою свободу. Я шел к серому морю небес. Не помню в себе даже малейшей тревоги.

Я ушел, кажется, довольно далеко, и тут у меня за спиной звякнул велосипедный звонок. – Позвольте подвезти вас, юный господин?

И, словно открывая дверь “роллс-ройса”, Дуна жестом пригласил меня на раму своего велосипеда. Джо стоял рядом.

Багажника у Дуны не было, он взял мой чемоданчик в левую руку, я взобрался на раму. Для равновесия откинулся спиной к бурым запахам дедовой груди и с тем покинул мир – не только потому, что ноги мои более не касались земли, но потому что, когда ты мальчишка, дедова грудь наделена особым глубоким притяжением, как для лосося нерестовый омут, где разрешаются все таинства.

Его ботинок с желтыми шнурками толкнул нас вперед. Велосипед неумолчно тикал, подобно сотне крошечных часов, и, виляя и петляя из-за однорукоего вождения, мы отправились не обратно дорогой вдоль дельты к Фахе, а на запад к побережью, потому что сердечной мудростью своей Дуна понимал: нестареющее средство утешения для мальчика, чья мама больна, – показать ему океан.

* * *

С мальчишества, из священного места, где сентиментальные старики хранят то, что питает их, – вот вам полная шапка фахских воспоминаний.

Фаха – место, где невинный дед сживал с мальчиком и нескончаемо дулся с ним в шашки: “Одолей меня, малец”. Глаза блестят, улыбка мягкая и радушная: почти все свои зубы он оставил Планкетту, дантисту-зубодеру в городе. Как раз туда мы с Дуной и Джо отправлялись на молодецкие вылазки за Гектором, быком Доунзов, вели этого зверя по дороге на перекрученной веревке, привязанной к кольцу у Гектора в носу, шагал бык неспешно, походкою бывалого и выдавшего виды джентльмена, никакого особого интереса к происходящему не являл – вплоть до самых ворот, где брыкались и разбегались телочки.

Именно там, пусть дождь и нависал вечной вуалью, никогда не было воды, потому ходили с ведрами к колодцу (не тому, как в английских иллюстрированных книжках, не каменному с воротом, а к стеклянистому зеленому глазку среди тростника в двух полях от дома; летом тот колодец “чистили” древним методом – запускали в глазок угря) и несли их домой, поначалу

¹⁸ Отсылка к американской почтовой службе *The Pony Express*, созданной для доставки срочных сообщений, газет и почты верховыми гонцами, действовала с 3 апреля 1860-го по 26 октября 1861 года между Миссури и Калифорнией; до начала работы телеграфа это был самый быстрый способ доставки сообщений между восточным и западным побережьями США.

¹⁹ *The Hotspur* (1933–1981) – британский журнал для мальчиков, с 1959 года сборник комиксов.

сутулясь, пока не отыщется ритм, старый, как само время, в каком мужчина или женщина ходит по воду.

Именно там Суся, глянув в небо, выкрикала: “Сушим!” – и мы выбегали с корзиной, куры в своей куриномозглой беспамятности, забыв, что их уже кормили, кидались за нами; мы закрепляли белые простыни прищепками и давали им поплескаться на ветру, может, целых десять минут, пока вслед за чайным кличем не налетал, будь он неладен, дождь. То белье полностью не высыхало никогда. Вечерами оно висело на двух стульях возле огня и насквозь пропитывалось торфяным дымом, клубившимся всякий раз, когда кто-нибудь, заглядывая с *курдем*²⁰, открывал заднюю дверь. И все равно не просыхали, но что ж с того, все равно спишь на них, тепло тела человеческого – последний этап просушки, сны от дождя и дыма неземные.

Запах хлеба – пекли его постоянно, – запах торфяного дыма, запах лука, кипячения, зеленый дух вареной капусты, розовый – бекона с серой пеной, как прущий грех, запах ревения, чудовищно разраставшегося на краю компостной кучи, дух дождя во всех его проявлениях, запах далекого дождя, запах дождя, что начнется того и гляди, недавнего дождя, дождя давнишнего, вездесущий дух мороси, сладкий – ливня, живой запах шерсти, мертвый – камня, металлическая призрачная вонь скумбрии, не подчинившейся законам материи и, как Иисус, пережившей саму себя на три дня.

Именно там тебя предоставляли самому себе – там, где ребенок с сокращенным именем Ноу оказывался на свободе, за порогом, в тихом сыром чуде этого мира; обрезок трубы или палка – меч, лужи, канавы и рытвины – владения, владения, даровавшие смутные сокровища: полупогребенный в земле ботинок, монетку в ярь-медянке или похожую на устрицу плюху головастика. Именно там мальчишка не старше восьми мог процокать мимо на лошади, без седла, глаза дикие, вцепился в гриву, восторг от прыти, какая не в его власти, мчит прочь – в сказовое время, где погода мог показаться на дороге человек с хомутом и спросить: “Лошади не видал тут, а?” Именно там я жил по часам собственного желудка, в дом возвращался, лишь когда голоден, ел все, что перед тобой поставят, и выбегал обратно, лишь отчасти осознавая благо уединения и дар времени.

Именно там у каждого поля было свое имя, где *Гардинь на сколе* был когда-то школой-у-изгороди, а *Парьк на манахь*²¹ – полем монахов, и, услышав это, детскими глазами своими ты едва ль не видел их.

И там же, невзирая на возраст, хватало дел – на болоте копать торф: “Ты для этого самых подходящих размеров”, – поднимать, переворачивать и утапывать, вновь и вновь, поскольку с торфом дождь превозмогал любые уловки, и неумелые, и искусные, притвориться, будто дождя не существует; здесь кожа на пальцах быстро мозолилась от соприкосновения с миром действительным, а ногти обрамляла чернота, здесь, в буром дурмане торфяника, терял ты всякое самоощущение – дурман болота призывал к бытию древность или пре-древность, какое б ни было то время, и здесь осознавал ты, что едва не помираешь от голода, лишь когда в полдень Джо вострил уши, заслышав, как приближается Суся: “Смотри, вон она!” – с чаем в бутылке и с лепешкой, нарезанной клинышками, на них причудливые черные следы огня, хлеб пережжен, как и вся Сусина стряпня, но из доброты назван копченым.

То ли в воздаяние за тяжкий труд, то ли такова местная алхимия, но чай на болоте был вкуснее любого чая – и прежде, и после. Дуна снимал куртку, раскладывал ее среди вереска, получалось пружинистое сиденье, оно царапало икры, зато штаны оставались сухие.

²⁰ Курдь, от ирл. *cúaird* – визит, посещение.

²¹ Гардинь на сколе (ирл. *Gairdín na scoile*) – букв. “школьный сад”. “Школы-у-изгороди” (*hedge schools*) – распространившиеся в Ирландии в XVIII и до середины XIX века нелегальные школы для детей из семей, принадлежавших к конфессиям, маргинализированным карательными законами того времени, – католиков и пресвитерианцев; классы собирались тайно, в жилых домах или амбарах, преподавали там азы грамматики (ирландской, английской, иногда латыни) и арифметику, иногда поэзию, историю и даже начала экономики. Парьк на манахь (ирл. *Páirc na manach*) – монашеское поле.

– Тсс, Ноу, слушай кукушку.

Именно там – через семьдесят восемь лет после того, как у редакции “Фрименз Джорнел”²² на Принсез-стрит в Дублине зажглась первая дуговая лампа, и семьдесят – с тех пор, как включили электрическое освещение в общественных местах, когда Чарлз Стюарт Парнелл²³, обращаясь к обширной толпе, использовал свет как символ свободной Ирландии, – именно там, в Фахе, электричества по-прежнему не случилось. Оно вечно было на подходе – болтали, мол, того и гляди возникнет, а с ним всякие бедствия и чудеса, но покамест оно вечно где-то не здесь.

Именно там банное время – целый субботний спектакль, грандиозные фанфары ведер и горшков, святой нимб пара, прелюдия к воскресному духу карболки и “Ринзо”²⁴ в Святой Цецелии.

Именно там вечно водилась кошка по кличке Кыся, эта кличка противостояла смертности и была одновременно и личной, и общей, а потому кошка звалась “эта Кыся”, а также просто “Кыся” – из-за задней двери, шипением без всяких гласных: “Кс-кс-кс”, – и в разное время бывала черной, или черно-белой, или рыжей, здоровенной, средней или мелкой, но, как душа переселяющаяся, всегда оставалась Кысей.

Именно там мухи залетали в дом, укрываясь от непогоды, и, незамеченные, поселялись в толще воздуха или прилеплялись к завитым, медового цвета мушиным кладбищам, какие никогда не переполнялись; там ты усаживался на трехногий табурет, выделанный из моренной в болоте доски, у Суси в доильном сарае – на табурет, сколоченный Дуной и потому совершенно лишенный равновесия, табурет, по виду своему лишь слегка современнее каменного века, и, под бабушкиным руководством, вжимался головой в бок Герти – “коровы уж такой молочной, что впору везти ее домой к твоей матери” – и ошупью искал коровий сосок, нечто совершенно невообразимое, большое, никак не меньше детской твоей руки, розовое и шершавое и при этом отчего-то *усталое*, и ты выманивал – а не просто выдавливал – яростную струю молока, горячую, сероватую, и с этой резкой молочной музыкой она пугающе наискосок шибала в эмаль ведра.

Именно там, когда нисходила тьма, нисходила она абсолютно, а когда выбирался наружу, ветер иногда растаскивал облака и тебе являлось откровение столь несметных звезд, что не удавалось отдать должное этому чуду, и телом своим чувствовал ты себя меньше, а душою – бескрайним.

Вернувшись в дом, ты отправлялся по крутым ступенькам капитанского трапа спать на матрасе – до того тонком, что он не заслуживал мягкости, подразумеваемой самим его названием, – на чердаке под самой тростниковой кровлей, все равно что внутри грубой кисточки, где попадали в ловушку все запахи дня. Ты знал, что тростник кишит жизнью, а потому решительно собирался не спать и глазеть на кровлю, пока жизнь не явит себя, но она все никак. Буро проваливался в сон – и в другое измерение, где приблизительная версия тебя самого летела сквозь мирозданье, яркое, но зыбкое, пока не просыпался ты в незримом свете, глядя на летучую мышь, спящую вверх тормашками прямо у тебя над постелью.

Именно там я однажды наблюдал в городе, как мой дед выходит из “Пивнушки”, достает из кармана большой медный пенни, кладет его на дорогу и идет себе дальше. Когда я спросил его, зачем это, он выдал мне улыбку-айсберг неведомой глубины погружения и ответил:

²² *Freeman's Journal* (1763–1924) – старейшая националистская газета Ирландии, учреждена Чарлзом Лукасом; была связана в начале XVIII века с радикальными политиками-протестантами и патриотами Хенри Граттэном и Хенри Фладом; с переходом в руки Фрэнсиса Хиггинза в 1784 году газета изменилась и стала более пробританской.

²³ Чарлз Стюарт Парнелл (1846–1891) – ирландский землевладелец и политический деятель, основатель и первый председатель Ирландской парламентской партии, активный поборник парламентской независимости Ирландии.

²⁴ *Rinso* (с 1908) – исходно британская торговая марка стирального мыла и порошка компании *Unilever*.

– Мужчина, женщина или ребенок, кто найдет ту монетку, решит, что счастливый сегодня день. – Тут он подмигнул мне изо всех сил. – Так оно и будет.

Именно там я сиживал у черного хода в кухнях у Блейков, Кинов, Коттеров или О Шэев в те вечера, когда случались домашние танцы, где спустя целую вечность взрослые сдвигали столы и всяческие стулья и прочее, чтоб освободить плитняк пола для плясок, оставляли только табуреты для музыкантов, где папиросы подавали на блюдах и где, словно благой дух, неизбынно висел вдоль потолка дым, где начала музыки приходилось дожидаться еще целый век, но когда музыка начиналась, Дуна и Суся отставляли свои споры и сбрасывали сорок лет, пружинисто выдавая невероятные па, словно персонажи из сказок, плясали, не глядя друг на дружку, ее рука в его клешне, вид у обоих отрешенный, а тела кружились, а ноги безупречно держали ритм.

Именно там, в Фахе, однажды, когда мне было десять, Дуна – палыцы крючком от лопатных черенков – ушел в комнату, покопался там, вернулся с футляром и сказал:

– Так, Ноу, вот, попробуй мою скрипку.

Именно там я постиг музыку.

5

Не знаю толком, помогает ли вам все это оказаться там. Мне помогает – и то хлеб.

* * *

Прекращение дождя не видишь, зато ощущаешь. Ощущаешь, как что-то поменялось в том, на какой частоте живешь, и слышишь беззвучие, какое считал тишиной, однако оно еще тише, и вскидываешь голову, чтобы глазами уловить то, что тебе уже сообщили уши, а поначалу это лишь одно: *нечто изменилось*. Потому что в Фахе в это не поверишь. Потому что в тех местах зазор между не-льет и опять-льет обычно так краток, что хватало времени лишь стряхнуть воду с шапки, и дождь припускал вновь. В это не поверишь, пока не глянешь на небо и не выставишь ладонь.

В ту Страстную среду я встал из-за стола и вышел на порог. В меру моего знания о нем небо над Фахой было цвета самогона – серая лучезарность его, как можно было б вообразить, словно бы того и гляди станет чем-то другим, явит действительность поярче, такую, что все это время располагалась чуть выше. Беда в том, что никак не являла. На борту аэроплана я в ту пору еще не бывал. Не уверен, бывал ли там хоть кто-то из Фахи, – ну или те, кто бывал, не вернулись, чтоб рассказать об этом. Аэропорт в Шанноне²⁵ переживал тогда свое младенчество. Не испытал я еще тогда потрясение духа, какое бывает, когда аэроплан пронзает завесу облаков и обнаруживается то, что для меня было невообразимой безгрешностью вышней синевы. Осознаю, что сейчас-то это привычно и многие не замечают. Но память остается при мне и в темные дни помогает думать об этом неизменном над нами. Так или иначе, дело в том, что небо над Фахой оставалось неизменным так долго, что само это время утратило смысл. Не помыслить было, что небо переменится.

Но теперь покровы непогоды расступались и мне стало видно аж до Минитеров, до Консидинов, где жила Делия с братом Подом, юродивым, видно сверкающую спину реки, где та заворачивала у дома, что сперва принадлежал Тальти, а позднее – поэту Суэйну. Мир капал и блестел. Ясени у границы сада на болоте стояли покамест без листвы, но трепетали, поскольку там сновали птицы, и в первые мгновенья после дождя возникла неоспоримая новизна.

Солнца как такового еще не было. Ничто не предвещало. Лишь облегчение, восторг, какой в Святой Цецелии случился союзно с “Те Деум” и над Мужским приделом пролил цветной свет сквозь витражные стекла, когда Отец Коффи произнес проповедь о единстве Церкви и Государства: объявил пришествие электричества и воскрешение Господне.

Джо лежал на Дуниной подушке, урвав себе песьих грез. Я выступил к порогу и замер в первых мгновеньях ушедшего дождя – и тут меня окликнул мужской голос:

– Здрасьте.

Когда сам юн, все кругом стары. Это я помню. Тот дядька был старым, подумал я тогда, но теперь знаю, что восьмого десятка он не разменял.

То ли мимо он шел, то ли ждал у калитки, сказать не могу, но теперь быстрым шагом устремился во двор, при нем чемоданчик. В окладистой бороде, смолоду, вероятно, был тощ, но жизнь придала ему мышц, а пиво – объема, и потому, хоть и среднего роста, был он силен,

²⁵ Международный аэропорт Шаннон заработал в 1942 году; первый рейс осуществила Британская корпорация международных авиасообщений (ныне присоединена к компании “Британские авиалинии”), а первый перелет ирландской авиакомпании “Эр Лингус” в Дублин состоялся в августе. В 1945 году в аэропорту Шаннон открыли первый в мире магазин беспошлинной торговли.

коренаст и крепок, вместе с тем вес свой нес с видом изумленным, словно сам же излагал белу свету себя-анекдот.

Он вошел во двор с чуждой ловкостью крупного человека. Когда улыбался, глаза у него делались, по словам Франсез Шэй, атлантические, что, как я понимаю, означает “глубокие, синие и далекие”. Поразительные они были. Кажется, я уловил это сразу. Таких глаз больше никогда я не видел.

– Вот он ты, – сказал он, будто это я появился откуда ни возьмись.

Был он когда-то блондином, а теперь стал оттенка между светлым и серебряным. Волосы чуть присыпаны цветочками с изгороди.

Дело было шестьдесят лет назад, а потому кое-какие подробности воображаемы. Нет такого человека, прожившего так или иначе приличное количество жизни, кто помнил бы всё.

Дядька поставил чемоданчик, сел на лежень, глянул на свои сапоги-маломерки и протянул мне сильную руку.

– Кристи, – произнес он.

6

И пока не более того.

Есть люди, кто понимает привилегию покоя и способен сидеть, дышать, видеть, слышать и обонять этот мир, покуда вращается он, и пусть себе что там дальше немножко подождет. Кристи сидел и глядел вниз, на реку, я сидел рядом с ним, и мы оба смотрели на реку, сдается мне, тринадцатью разными способами, однако не произносили ни слова.

Я подумал, что он, должно быть, странник, в то время таких было много – не только лудильщики²⁶ или жестянщики, а просто люди, болтавшиеся по стране по всяким причинам, ведомым человеку, снявшемуся с семейного или домашнего якоря, кто зарабатывает на жизнь товарами, что хранятся в чемоданчиках, какие открываются, словно миниатюрные театры, и показывают всякое, что есть нового в большом мире. Обычно такие люди говорливы, и болтовню их, пусть и поистрепанную от повторов, слушали и за ловкость да лукавство чтили. Угрозы такие люди не представляли, вызывали всего лишь умеренное недоверие. Не была еще тогда наша планета столь переполнена, и когда появлялся в дверях какой человек, все еще возникало к нему любопытство и интерес, и оттого, что привычная орбита отдельной жизни была в ту пору меньше, появлением своим чужак словно бы отдергивал занавеску. Прихватай их и истории, обороты речи, покрой одежды, отпечаток странствий в самих морщинах у них – для тех, кто за всю жизнь не решается покинуть своего графства, во всем этом был дух других краев. Странники возникали, казалось, из былинного времени, и хотя за некоторыми шла дурная слава, а кое за кем гнались стражи правопорядка, в основном были они безобидны, видели в них выбившуюся нить в ткани деревенской глубинки, и в разные свои визиты видал я торговцев щетками, ножами, кастрюлями, мазями, маслами, коврами, очками и раз даже зубами – раскладывали они свое добро на кухне перед Дуной, а он вечно желал скупить все подряд, Суся же не желала ничего, за вычетом карточек “Святые и мученики”, отказ от которых мог быть дурной приметой.

Энциклопедии, разумеется, были диковинкой, и предлагали их ученые джентльмены в заношенном твиде, при них имелись дипломы, подтверждающие, что владеют эти джентльмены всей суммой человеческого знания, какое сведено “всего лишь к двадцати четырем томам, сэр”, – и это издание постоянно уточняют, а потому точно оно во всем, что известно на белом свете, вплоть до вчерашнего вечера. Полный комплект энциклопедии, в чем отдавали себе отчет ученые джентльмены, был Фахе не по карману, но, не желая ни уступать ущербностям географии, ни отъединять фахан от первейшего стремленья человеческого со времен Адама, ученые объявляли, что Совет постановил: все тома можно приобрести оплатой в рассрочку, и, если подписаться сегодня, есть разрешение на уникальное особое предложение бесплатного атласа с тремя сотнями цветных иллюстраций, посредством которых можно наведаться куда угодно от Акапулько до Явы. Более того, чтобы как-то разместить всю эту сумму знания человеческого, можно приобрести вот такую витрину, такой вот превосходный набор полок или оригинальный библиотечный роскошный шкаф со стеклянной дверкой. И под заклятье: “Это же индийская бумага, сэр, вот пощупайте качество” – продано было множество, и в домах по всей глубинке, где не хватало денег на воротничок к рубашке или пару носков, не диво было увидеть комплекты энциклопедии, пусть и с пробелами – от “Луча” до “Метафизики”, скажем, или от “Доколумбов” до “Духовность”; обыденная действительность тут брала верх над благо-

²⁶ Лудильщики (от англ. *tinkers*) – ныне некорректное название малой этнической группы, именуемой “ирландскими странниками”, или “скитальцами” (ирл. *lucht siúltá*); странники ведут в основном кочевой образ жизни – со Средневековья и до наших дней.

родным порывом и некоторые участки знания, выстроенного в алфавитном порядке, оставила невосполненными, но что ж с того.

Вопреки несомненности того, что все новое стоило больше того, что имелось на руках, ни одного торговца от дверей не гнали, и многие временно поселялись на сеновалах или в сараях – или получали *просто кружку чаю, мэм, да ломоть хлеба*, пока не подадутся они дальше по дороге в сумерки. Далее, подобно ласточкам, некоторые на следующий год возвращались и вспоминали о гостеприимстве такого-то дома и о том, что рассказывали им там о хвором ребенке или о сыне или дочке, уехавших в Бостон или Нью-Йорк, и неким тайным искусством связи мест и людей помнили они истории каждого семейства и забывали, что те никакого добра у них не купили. Но какая разница, им хватало необходимого оптимизма всех торговцев, и в этом году имелись у них эти яркие салатники: *вы гляньте-ка, постучите, хозяйка, ну же, не разбить их, потому что – смотрите! – они из пластмассы*.

Кристи, подумал я, – из таких. А может, как Хартиган – пучеглазый, творожистоликий и зубастый фортепианный настройщик из Лимерика, по виду ненадежный, потому как, говорила Суся, не жиреет; зашит он был в худющий полосатый костюм и вечно проезжал через Фаху после того, как, по его словам, *настраивал в городе монашкам*. Хотя фортепиано – инструмент величественный и в Фахе едва ль не умозрительный, Хартиган попутно заглядывал в несколько домов на случай, если удастся заронить интерес в покупке инструмента с рук или хотя бы каких-нибудь нот, что *подойдут и для аккордеона, хозяйка*, если водился в доме аккордеон. Стоя в дверях, Хартиган курил и обводил взглядом товар. “Виргинская смесь, – говаривал он, поглядывая на папиросу, дымившуюся у него между пальцев. – Гладкая, как сливки”.

Быть может, из-за некоего первобытного, но глубокого обаяния, связанного с настройкой инструментов, а может, из-за таинственной притягательности любого, кто хотя бы по касательной относится к музыке, за Хартиганом, по слухам, тянулся длинный шлейф романов и внебрачных связей, и все они – вопреки тому, каков был он с виду, и в доказательство непостижимых дамских глубин.

И вот, поскольку я не хотел, чтоб этот чужак взялся предлагать мне что он там припас, пока Дуна с Сусей не вернулись с Мессы, из-за оков моей тогдашней застенчивости, а также оттого, что сам Кристи целиком непринужденно сидел себе на сыром лежне, я сказал ему лишь это:

– Их нету. Они в церкви. – А затем, сам не знаю почему, через миг добавил: – Страстная среда.

На что он не ответил, а лишь кивнул и улыбнулся реке и дороге, по какой пришел.

Из окна в скотном сарае пришла кошка – выяснить, что к чему, для чего потерялась о штанину чужака. Кристи погладил ее по голове.

– Привет, Кыся, – молвил он.

Прожив приличный отрезок жизни, учишься ценить неповторимость творения. Понимаешь, что нет такого понятия, как “средний мужчина” или уж тем более “средняя женщина”. Но даже тогда, в те первые мгновенья рядом с ним на том лежне, думаю, я знал, что есть в Кристи нечто чарующее. Всяк носит в себе целый мир. Но некоторые меняют самый воздух вокруг себя. Лучше я и сказать не смогу. Не объяснить это – лишь почувствовать. Легко ему было в себе самом. Может, в этом первое дело. Ему незачем было заполнять тишину – и хватало уверенности рассказчика, когда история еще не явлена, тесемки ее не развязаны. Шевелюры его уже сколько-то не касался цирюльник, борода взбиралась по щекам и нисходила за ворот рубахи, какая вокруг верхней пуговицы посерела от грязи с пальцев. У плоти лица имелось то же свойство бывалости, как и у одежды и пожитков, словно проявлялось оно от жарких солнц и студеных ветров. Он был глубоко морщинист, как замша. Его жизнь на нем писана. О глазах я уже упомянул. По-прежнему их вижу. Сдается мне, истинная неповторимая природа глаз человеческих не поддается описанию – или, во всяком случае, не для моих это способностей.

Глаза – как ничто иное или ничье иное, и, возможно, они лучшее доказательство существования Творца. Вероятно, то стародавнее про глаза и душу – правда, точно сказать не могу, но, впервые увидев Кристи, задумался, отчего у человека берутся такие глаза.

– А сам?

– Ноу – так зовут.

Имя Ноэл толком не шло мне никогда. Как это было принято в городах – возможно, чтобы справляться с многочисленностью населения и размытием индивидуальности, – людям стали давать клички или же сокращать даденные им имена. На школьном дворе на Синг-стрит я сперва был Всезнайкой, но вскоре стал Ноу, в рифму к Кроу, – спасибо гению обстоятельств, в этом прозвище одновременно слышались и “но-но”, и “ну-ну”, что довольно точно запечатлеvalo противоположные полюса моей персоны.

Сидели мы на порожках, совсем не парочка. Он глазел на реку, я, искоса, – на него.

Костюм на нем тоже был синий, теперь уже ошеломительно синий, а от странствий и времени вытерся не только на коленях и локтях, но на каждом дюйме, и не небрежением отдавал, а уютом. Ткань – не та грубая ноская, как у костюмов, продаваемых в “Бурке” в ту пору, а, возможно, лен, сдается мне, и для погоды в Фахе не подходящий так же, как любая другая возможная одежда. Пошили этот костюм, возможно, в Египте – или, слышал я, бывают шляпы-панамы, может, это костюм-панамы. У левого обшлага не доставало пуговицы. Серединная на пиджаке, где тот сходилась на животе, сокрушилась от напряжения, но героический обломок все еще держал борта сомкнутыми. Вдоль манжет обеих штанин значились бурые восклицания грязи, накиданной в странствиях по залитой лужами дороге. Чемоданчик, стоявший на земле перед Кристи, был из популярных в те времена, когда путешествовали нечасто и от чемоданчиков требовалось за всю жизнь переместиться всего раз-другой. Ненамного серьезней картона, куда проще кожи, когда-то рыжевато-бурого цвета, но теперь уж от солнца или дождя он стал блекло-горчичным. Довольно маленький – может, не более одной смены белья, и, как все они, копил на себе пробег.

Мы сидели и смотрели на реку.

– Вон там фазан? – спросил он, кивая на птицу у бровки канавы в тридцати футах от нас. Я удивился, что Кристи не может разобрать.

Кристи остался невозмутим.

– Почти все свое зрение я израсходовал на чудеса этого мира и красу женщин, – пояснил он.

Не могу сказать точно почему, но это на дюйм вышибло меня из себя, и вернуть себе тот дюйм не далось мне легко. Кристи накренился вбок, выудил и предложил мне сплюсненную пачку папирос.

– Не. Нет, спасибо. Не буду, – сказал я, будто иногда покуривал.

Он вынул одну для себя, покатав осторожно в ладонях, чтобы вернуть ей форму трубочки, сунул в рот и принялся за то занятие, какое станет позднее привычным, – бесплодный поиск спичек по карманам. За все время нашего знакомства он никогда тех спичек не находил, но всякий раз искал и оказывался одинаково ошарашен тем, куда дьявол подевал все спички.

– У нас есть.

Я ушел в дом, поискал в тех двух местах, где, судя по нескончаемым супружеским спорам, спички обязаны лежать, махнул рукой и поджег от очага лучину.

Выбравшись с ней на улицу, я увидел, что Кристи нету. Чемоданчик стоял, а хозяин исчез.

7

Так же, как предписан был порядок восшествия в церковь Святой Цецелии, такой же данностью было и то, что, как только Месса миновала свой апогей, люди теряли интерес. Мосси Пендер всегда уходил первым. Мосси дожил до возраста, когда не властен более над своим мочевым пузырем, и в последние мгновения службы, не успевала еще облатка растаять у него на языке, Мосси стремглав бросался вон из Святой Цецелии в соседнюю дверь, к Райану, где маленькое слуховое окошко уборной пропускало наружу плеск водопада Мосси, пока выходила со службы остальная паства. Большинство мужчин, будто не имея в себе ничего религиозного да и словно бы на службе не побывав, вновь рассаживались на подоконнике у почты.

Церковь в то время была главной точкой притяжения, и целый час до и после проповеди, службы или моления дела у торговцев шли бойко. Люди пользовались тем, что оказались по обстоятельствам в деревне, а лавочники наживались на подъеме духа среди мужчин и женщин, только что вышедших из церкви, напитанных оптимизмом: Господь присматривает за ними. Не ведаю, каков теперешний эквивалент тому и есть ли он вообще.

От того, что вышли они в ту Страстную среду в очистившийся свет после дождя, дела в лавках должны были пойти еще лучше. Конечно, никто не счел, что дождь действительно прекратился вовсе, он просто запнулся; чудес в Фахе не видывали.

Пока женщины ходили за покупками, мужчины ждали и закуривали. Все до единого они владели необходимым, пусть и не воспетым искусством коротать время. По воскресеньям сиживали рядом с открытым багажником “фольксвагена” Конлона-газетчика, и вились над ними белые дымы, как на Пятидесятницу²⁷.

Человек-пенёк, Конлон происходил из Энниса и наживался на провинциальной робости. Здоровался по-энниски: “Ну?” – правильный ответ на это был: “Ну”. У него были глазки-щели, как у варяга, и непревзойденное мастерство стрелять бровями. “Постигаете ли вы *спутник*?”, или “Министр почт и телеграфов!”²⁸, или “Юнайтед!” – говаривал он, стрелял бровями и протягивал вам перевернутую газету, сложенную ровно, как скатерть, а внутри таилось то, что вы покамест не знали о *спутнике*, о том, что на сей раз пообещал министр почт и телеграфов, а также новости о “Манчестер Юнайтед”, за которую после мюнхенской авиакатастрофы²⁹ – при местной-то тяге к трагедиям – теперь болела восприимчивая половина всей страны.

Дуна газету не брал, зато брал его сосед Бат Консиндин, а по воскресеньям из алчного желания понадежней устроиться на этой крутящейся волчком планете Бат скупал все газеты, по одной из всех, какие у Конлона водились, а тот продавал их с одобрительным кивком: “Вот ты-то джентльмен”. Бат был холостяком, до поздних лет жизни в машину ни к кому не подсаживался, а топал домой четыре мили, сунув газеты под мышку, они же торчали и из внутренних, и из наружных карманов его пальто, и Бат не возражал, если Дуна, заглянув в гости, брал старую газетку-другую с собой и таким манером наверстывал мировые новости недельной давности.

Скажу вот что: нет у меня намерения расписывать приход сплошь в розовом свете. Имелось в нем предостаточно злодеев, некоторых вывели на чистую воду, а некоторых – нет, как и всюду. Много скверного думалось в ту пору, как – несомненно, узнаем мы когда-нибудь – думается и сейчас. Время оголило историю бесчестия в институциях страны, и редкостью не была нехватка сострадания, терпимости и того, что когда-то именовалось приличиями. Фаха

²⁷ Отсылка к Деян. 2:19.

²⁸ Министерство почт и телеграфов Ирландии (ирл. *Aire Puist agus Telegrafa*), существовало с 1924 по 1984 год.

²⁹ 6 февраля 1958 года в Мюнхенском аэропорту при третьей попытке взлета разбился самолет авиакомпании “Британские авиалинии” с игроками и тренерами “Манчестер Юнайтед”, а также болельщиками и журналистами. Из 44 пассажиров погибли 23, 19 были ранены.

отличалась мало чем: жестокость, подлость и невежество имели место, но по мере того, как я рос, те случаи и байки о них казались все менее убедительными, словно Господь построил в меня дух милосердия, о коем я в молодости и не подозревал. Может, конечно, я просто благодарен за то, что все еще на земле, а не в ней, и, кажется, важнее подмечать в человечестве доброе. Теперь я уже в том возрасте, когда рано поутру посещают меня воспоминания о собственных ошибках, глупостях и непреднамеренных бессердечиях. Усаживаются они на край моей постели, глядят на меня и молчат. Но вижу я их вполне отчетливо.

В ту Страстную среду в отсутствие Конлона мужчины топтались себе, болтали – и не болтали. Большинство обитало в зеленом уединении и потому утешалось обществом друг друга, несколько не стремясь быть искрометными.

Суся выбралась из толпы у дома Клохасси, увильнула от тенет кружевной мантильи Катлин Коннор, чья голова наполнилась похоронами, и адресовала одиночный кивок, глядя вниз по улице, своему супругу. Дуна произнес: “Ну дела”, засим оставил мужчин и воссоединился с супругой. Они отправились во двор к Клохасси, отвязали Томаса и забрались в то, что именovali экипажем, – на самом деле то была телега, влекомая конем старше меня; тот конь знал, что время лошадей подходит к концу, преисполнен был меланхолии и держался как древний старец. У многих имелись пони с колясками, и так выезжали они по воскресеньям. Но в Дуне и Сусе тщеславия было немного, и они полагали, что Христос оценит бережливость и на простоту транспорта закроет глаза. В 1958-м мой отец в Дублине водил черный “форд”, ездил на автомобиле со своих двадцати пяти лет, мыл “форд” по утрам каждую субботу и убирал с половиков любой камешек или грязь, а потому его автомобиль казался сумрачной колесницей, однако отец моего отца в Фахе правил конем и телегой, ничем не отличаясь от своего отца или отца своего отца и, вероятно, всех Кроу за порогами древности с тех самых пор, как Фаха возникла из моря. Дуна экипажа с мотором себе не желал, но и плохого про тех, кто располагал таким экипажем, не думал. В глубине души Суся, вероятно, стремилась к роскоши и величию, но даже если так, рано погасила она в себе ту девичью грезу, извела ее на корню, чтобы стужа и сырость, грохот и тряска лошади и телеги по дорогам Фахи не вынудили ее пожалеть о своей жизни.

Прозвонили церковные колокола, и я знал, что прародители подались прочь из Фахи, покуда сам я стоял на пороге, словно младший апостол, с горящей лучиной. Того человека – Кристи – след простыл. Я бросил лучину и тут заметил маленькую синюю кучку его костюма в траве на речном берегу и в тот же миг различил в реке золотистую макушку его головы.

Хоть и островитяне мы, в ту пору пловцы из нас были ужасные. То ли из чрезмерно развитого почтения к силам природы, то ли из стыда перед раздеванием, то ли от захватывающего дух недоумия, но никто в те времена не учился плавать. Большинство входило в воду лишь иногда, и в основном то были мужчины, закатывавшие штаны до колен, и вступали они в мелкие волны у Килхы, не снимая шляп и свесив голову; белее белого ступни их под водой – повод для потрясения, большие пальцы на ногах зарываются в песок, словно в школьном эксперименте с червями. Как всегда, женщины оказывались дерзновеннее, и барышни, что визжали в ледяных водах, высоко вскинув юбки, и убегали, голоногие, от пены, – не редкость, а одна из ключевых причин, зачем мужчинам отправляться к морскому побережью. Однако плаванием ничто из этого не было. Для тех, кто действительно разоблачался, плавать означало барахтаться, задрать голову, и заполошно бить руками и ногами в надежде, что если достаточно резво барахтаться, то можно избежать утопления.

Если видел кого-то в реке, первым делом приходило в голову, что человек не плавает, а тонет.

В жизни бывает больше одной двери. Даже на бегу я, кажется, понимал, что вот как раз тот случай.

Не так-то просто бежать через поле весной, и в моей памяти такое поле, как у Дуны – оспины да кочки, навоз, тростник да скользкая апрельская трава, – место коварное. А поскольку у старика есть история лишь его собственной жизни, я все еще бегу через то поле, тощий семнадцатилетний парнишка из Дублина, застенчивый и вместе с тем упрямый, бегу с предчувствием того, что мне казалось роком, но было, вероятно, судьбой, если вы к такому склонны. Я бежал, веря, что собираюсь спасти того человека, хотя, конечно же, это меня ему предстояло спасти.

На краю поля я перебрался через каменную стенку и перебежал дорогу, тянувшуюся вдоль устья. Может, звал Кристи. Может, махал руками. Он уже порядком отплыл в речной поток, река была холодна, и ничего милосердного или снисходительного в ней не было, темным языком была она и каждый год заглатывала все новых и новых отчаянных.

Я остановился у его одежды. Вновь позвал его по имени, и на сей раз Кристи повернул голову и отозвался. И до того убедительно свидетельство наших глаз и ушей, так стремителен ум, когда составляет свою версию происходящего, что едва ль не труднее всего в этом мире понять, что все можно видеть иначе. Из груди Кристи вырвался крик – голова запрокинута, вой во всю глотку. Но метнулась из воды рука его, ладонь распахнута, и, мощно, медленно покачиваясь, Кристи поплыл ко мне.

По дороге же приближались в телеге Дуна и Суся. Завидя меня у реки, они сбавили скорость и остановились, когда с немалым трудом, высоко задирая ноги и оскальзываясь, хватаясь за камыши, Кристи наконец выбрался на берег – бледный, в иле, улыбчивый и весь целиком голый.

* * *

Покуда живешь ее, иногда думаешь, что жизнь твоя – ничего особенного. Обычная, будничная и должна бы – и могла бы – в том и сем быть лучше. Нет в ней сравнения, посредством которого извлекается какой бы то ни было смысл, поскольку слишком она чувственна, непосредственна и безотлагательна, и именно так жизнь и полагается жить. Все мы постоянно стремимся к чему-то, и хотя это означает, что более-менее неизбежен поток промахов, не так уж и чудовищно то, что мы продолжаем пытаться. В этом есть что осмыслить.

* * *

Когда Кристи вернулся к дому, он был облачен в измятый свой костюм и пах рекою. Волосы и борода у него потемнели, а сам он помолодел на десять лет. Постучал костяшками в косяк открытой двери, и Дуна выскочил из кресла – поздороваться.

– Ну дела, – молвил он, и хотя ни малейшего понятия не имел, что здесь делает этот человек, просиял всем своим обширным лицом.

– Кристи, – сказал Кристи.

– Кристи, – сказал Дуна, словно было это совершенно чудесно.

Я сидел в уголке у очага, в самом темном месте той комнаты, и разглядывал силуэт на пороге, вычерченный в дневном свете, какой не был еще солнечным – просто сияние после дождя. Позади той фигуры свет двигался, и капли дождя трепетали на дальних терновых кустах, и те казались усыпанными жемчугом или рождественскими огоньками в апреле. Думал же я так: вот какова она, Фаха. Думал же я так: в этом человеке нет и малейшего проблеска оторопи из-за того, что видели его нагим, и пусть не умел я выразить этого в словах, нечто *переменилось*. А затем Суся – то ли в подтверждение неписаного характера керрийцев, то ли собственной непроницаемой натуры – вытерла руки о посудную тряпицу, оставила ее у мойки и, сложив руки на груди, произнесла:

– Раненько вы.

В тот миг растерянности и восторга Дуна осознал, что Суся этого Кристи ждала и не усохло от сорока лет брака чудо Анье О Шохру.

Ключевое знание о Дуне состояло в том, что он обожал байку. Верил, что люди располагаются внутри повести, у которой нет конца, поскольку рассказчик начал ее, о концовке не задумываясь, и даже после десяти тысяч сказок к тому, чтоб отыскать развязку, на последней странице не приблизился. Байка – суть жизни, и, осознавая себя внутри нее, чуть легче выносить горести и невзгоды и полнее радоваться всяким поворотам, какие возникают попутно. Дуна шагнул в сторону, пока Суся пялилась на гостя, и брякнул:

– После Пасхи, говорили.

Гость пожал плечами.

– Я раненько, – сказал он, словно сам не хозяин был своему появлению.

– Комната наверху, на чердаке. На двоих вам будет с нашим внуком, мы его не ждали, но он тут, – сказала Суся. – Надолго ли – не ведаем.

Подтекст я уловил, но не обиделся. Кристи все нипочем.

– Постель... простая, – сказала Суся.

– Любая постель хороша.

– Постояльцев у нас не бывало. – Она смотрела на него без выраженья, за круглыми линзами глаза огромны. – Расценки не знаю.

Лицо у него сморщилось. Если глядеть ему в глаза, сходило за улыбку.

– В графстве Мит платил три фунта в неделю.

– Вас грабили.

– Есусе, как есть, – подтвердил Дуна и провел ладонью себе по макушке.

– Туалета нет у нас. Электричества тоже. Пятьдесят шиллингов в неделю. – Суся осваивала навык торговаться себе в убыток. – Будете уезжать домой на выходные – тридцать пять шиллингов в неделю. У нас свои яйца и черный хлеб, расход у меня выйдет только на мясо.

– Никакого мне мяса, – сказал Кристи. – На это расхода не будет.

Суся не поняла, то ли он отказывается от мяса, чтоб постой вышел подешевле, то ли чтоб стряпня оказалась попроще.

– После субботы будет мясо.

– Не для меня, – сказал он.

К слову, в те времена – возможно, оттого, что желудки помнили тяготы войны, а может, в памяти народной – и Голода, – не употреблять мясо мужчине было едва ль не богопротивно. Вегетарианцев в Фахе не водилось вплоть до приезда из Бристоля в 1970-х Артура и Агнес Филпот в блекло-розовом “фольксвагене”; они поселились на участке грязищи и тростника позади дудочника Джона Джо, принялись вырубать кустарник и рыть борозды и совершенно сражены были щедростью Джона Джо, в припадке гостеприимства предложившего: “Валяйте, забирайте у меня весь коровий навоз”.

Мясо не ели во искупление: вне искупительного времени в году предполагалось от мясоедства некое внутреннее смятение. Суся все еще хлопала глазами, и тут Дуна предложил:

– Рыба?

На что Кристи отозвался:

– Рыба – прекрасно. – Подал Дуне широкую ладонь. – По фунту в неделю решим?

На том и сговорились. Я проводил Кристи к крутому трапу на чердак. Для крупного мужчины был он довольно *прыткий*, как говорили в Фахе. Поставил чемоданчик, сбросил сапоги, улегся на кровать, матрас которой податлив был, как сливочный крекер, – и тут же уснул.

8

Когда я спустился, Дуна прошептал:

– Он по электрике человек, – и однократно мощно кивнул, что можно было перевести как “Что ты на это скажешь?”.

Вселение Кристи оговорили по телефону, Суся сняла трубку, когда Дуны не было дома, и согласилась приютить постояльца, пока в приходе будут налаживать электрику. Наличие телефонной связи делало дом особенным и предполагало, что отсюда начальству докладывать будет проще.

Через двенадцать лет после того, как это впервые предложили в Дублине, через два года после того, как ушлые и ловкие политики за рекой осветили север Керри, словно ярмарочную площадь, на последний этап электрификации вышла и Фаха. Замысел в то время был таков: подключить сперва те области, что считались самыми прибыльными, а потому после электрификации городов и деревень к востоку приход Фахи годами оставался в постыдной тьме. За три года до этого состоялся официальный опрос населения. Сельский Уполномоченный по имени Харри Спех ходил по дворам и распинался о достоинствах разнообразных приборов, благодаря которым искоренятся тяготы жизни, а повседневные заботы превратятся в удовольствия. Спех, ученый, вынужденный трудиться торговцем, был черствым человеком из космоса Лимерика. Перед ним стояла задача собрать подписи и убраться восвояси. Ни в тонкости местной ситуации, ни в сложную природу фахан он не вникал. Спех знал, что агитирует за величайшую перемену в укладе жизни, однако ему не хватало проницательности, чтобы понимать, в чем могут состоять возражения. То была страна, усилиями Церкви и других заинтересованных сторон склонная относиться к переменам не просто с подозрением, а прямо-таки со страхом, – страна, где большинство политиков народ избирал на основании того, что у них знакомые фамилии, а после смерти политиков их сменяли сыновья, чьи ключевые умения сводились к тому, что они были теми же, что и у предшественников. Президент оставался в своем кресле, пока не доживал до своих девяноста. Спех, рыжая колода с короткими руками, возникал у дверей прихожан, стоял в сумрачных кухнях, собаки обнюхивали ему брюки, и барабанил наизусть всякие чудеса по списку – насос, посредством которого вода польется из кранов и вскипит от одного прикосновения к выключателю, а комната просияет так, что все в ней станет видно.

Я отдаю себе отчет, что, возможно, трудно вообразить величие этого мига, порога, который стоит лишь преодолеть – и останется позади мир, переживший многие столетия, и миг этот миновал всего шестьдесят лет назад. Представьте себе: когда электричество наконец пришло, оказалось, что стоваттная лампочка для Фахи слишком ярка. Мгновенно проступившая безвкусица оказалась слишком ужасающей. Пыль и паутина, как выяснилось, сгущались на всех поверхностях еще с XVI века. Действительность оказалась отвратительной. Стало известно, что славная шевелюра Шине Дунна – парик, даже близко не в масть его загривку, что Мик Кинг – конченный и нисколько не изошренный шулер в игре в “сорок пять”, а здоровый румянец Мариан Макглинн – спекшийся грим цвета красной торфяной золы. На неделе, последовавшей за включением, Том Клохасси не мог напасть на зеркала у себя в лавке – смели все карманные, овальные, круглые и даже ростовые зеркала, люди приезжали со всей округи и покупали зеркала любых фасонов, отправлялись домой и там, в безжалостном свете, претерпевали стыд плоти своей, впервые себя разглядывая.

Спех привез с собой личные свидетельства домохозяев с востока страны.

– “Что за Подарок, что за Утеха это электричество”, – читал он вслух мертвым голосом, не ведая, до чего чтили в Фaxe театр. А еще, если хозяин дома в принципе соглашался на проводку, когда протянут, Спеху необходимо было получить автограф на подписном листе. В первом обходе он применил старейшую тактику, озвучивая имена уже подписавших соседей,

но затем осознал, что недооценил этот подход – как раз по этой причине некоторые подписывать отказывались. Во втором обходе Спех прибегнул к другой древнейшей тактике. Привел с собой Отца Коффи. Молодой курат был поборником современности. (Отец Том – нет, то ли потому, что более не верил в способность мира улучшаться, то ли потому, что знал: счета за электричество не оставят никаких денег на церковные нужды.) Отец Коффи был энергичен и пылок. Глаза у него сияли. Щеки сливово горели. Распаленный рвением, он говорил быстрее, чем собирался, и, как сам обнаружил, применял стратегию Гэльской атлетической ассоциации³⁰, коя ради футбола и хёрлинга поставила Вторую заповедь с ног на голову, подпитывая лютое межприходское противостояние – вплоть до ненависти к соседнему приходу. Отец Коффи свел это воедино с освобождением из плена египетского, путая библейское прочтение комментарием, что если все в Фахе не запишутся, то Комиссия по электроснабжению³¹ обойдет деревню стороной и подключит к сети приход Булы³². Фаха останется во тьме гнусной и позорной, тогда как буляки окажутся озарены, сказал он, подобно серафимам.

На большинство эти доводы подействовали. По правде сказать, священнику не было нужды говорить вообще. Хватило б и его присутствия.

Явив глубокое понимание национального характера, Комиссия по электроснабжению измыслила решающий штрих. По особому распоряжению и милостью Его Сиятельства Архиепископа каждый дом, принявший электричество, получит бесплатно лампаду Святое Сердце. Маленькая красная лампочка с подсвеченным распятием устанавливается у потолка и показывает любому гостю, что в этом доме Господь всегда присутствует. (Чуть погода святоша-торговец по имени Финн Клеркин шел по пятам у электриков и продавал заключенный в рамочку оттиск изображения Иисуса с оголенным красным сердцем. Оттиск был хитом продаж. Со временем стало и не найти дома, в каком не водилось этого изображения. Его ставили позади лампы, и даже в тех домах, где из страха перед счетом за электричество свет не включали, Господь оставался в красном сиянье.)

Как уже говорил, я целиком и полностью осознаю, что имею дело с древностями. Когда родился в одном веке, а разгуливаешь уже в другом, возникает в ногах некоторая шаткость. Пусть всем нам повезет прожить достаточно долго, чтобы времена наши сделались легендой.

Вслед за сбором подписей Спех исчез, и ничего не произошло. Некоторые уверенно считали, что вся эта затея – чистая выдумка или же что неумелый почерк, каким оставляли люди свои подписи, не подтвердил подлинность их личностей. В последующие три года сказанья об электричестве доходили до церковных ворот. Так, в Национальных чемпионатах по цельнозерновому хлебопечению, происходивших в Траморе, где намерение электрического спонсора состояло в том, чтобы раз и навсегда исчерпать спор о лучшем методе хлебопечения – с девизом “Электрическая печь против каменной”, – налетел ветер и вывернул заднюю часть шатра к морю. Не желая сдаваться природе, члены жюри скандировали: “Печем дальше! Печем дальше!” Но электричество закоротило от дождя, электропекари простаивали без дела, а миссис Фиделма Хили за свою выпечку в каменной печи увезла приз в Корк. Против факта не попрешь.

В этих историях будущее современности было неоднозначным, а люди утешались своей замшелостью. Ничего не происходило и продолжало не происходить. И тут однажды в воскресенье Отец Коффи с амвона взбаламутил паству в ее латинянской грезе, объявив собрание в зале с целью избрать Сельскую электрификационную комиссию Фахи.

³⁰ Гэльская атлетическая ассоциация (осн. 1884) – крупнейшее всеирландское объединение непрофессиональных спортсменов, в основном занята пропагандой национальных видов спорта (хёрлинга, камоги, гэльского футбола и гандбола). ГАА традиционно устраивала игры между приходами.

³¹ Комиссия по электроснабжению (осн. 1927) – государственная компания электроснабжения Ирландии.

³² Скорее всего, от ирл. *buaile* – маленькое пастбище, укромное место.

– Умозрительное да станет действительным, – произнес он, а через мгновение, осознав, что посыл его прихожанам не по уму, добавил: – Грядет электричество.

Тем вечером в зале было битком – не в последнюю очередь потому, что, по слухам, возможно, появится Депутат, а люди желали поглядеть, как выглядит их представитель. Само здание принадлежало Юстасу и покамест общинным центром не было. Узкий длинный сарай силою общинной грезы превращался раз в месяц в танцзал – за исключением Великого поста, когда сарай превращался в театр. Хранителем в ту пору был Старый Дан, а позднее станет Молодой Дан, а следом за ним – Дан Помоложе, и Старый Дан знал, что оживленность человеческая восполнит отсутствие обогрева. На сцене установили стол и шесть стульев. По предварительной договоренности заняли свои места два священника, затем доктор Трой – руки глубоко в карманах твидового пиджака, на лице выражение муки и мудрости, какое сложилось у Доктора после смерти его жены. Доктор поддерживал чужестр свою Фахе тем, что хранил пунктуальность, черту для прихода уникальную, и породил оборот “по трою”, означавший “строго вовремя” и противоположный “по тому”, означавшему любое время, отличное от того, которое назначил Том Кин. Миссис Риди, напудренная и надутая, волосы завиты до полусмерти, уселась рядом с Отцом Томом, и наконец в тот самый миг, когда показалось, что он уж не явится, по залу прошагал Учитель Куинн и взошел по ступенькам на сцену в манере, приличествующей директору государственной школы и его ежегодной ведущей роли в любительских спектаклях. От недостатка развлечений или же из почтения к дисциплине древней, как сами греки, способность встать и произнести речь по-прежнему вызывала благоговение, и в тот миг, когда Учитель Куинн встал, зал погрузился в тишину. Еще через миг, как и предписывала директива Спеха, что необходимо применять любые методы, какие напомним публике, что речь идет о делах государственных, из-за кулис возник один из Келли, чей нос никогда не бывал сух. С тем же веснушчатым недоумением, с каким он станет об этом рассказывать и тридцать лет спустя в Мельбурне, Австралия, уложил он жестяную дудку на нижнюю губу и выдал первые ноты Государственного Гимна.

Паства восстала в едином порыве – ну или в факском изводе его. Простое действие подыема на ноги, подобное тому, какой предшествует патерностеру, придало вечеру торжественности. Пусть и задышливая, и тоненькая, музыка сотворила волшебство всех гимнов, коим люди переживают единство и ощущают, как дух Нации вздымается у них в горле.

Дуна и Суся оба присутствовали. От них я и услышал эту историю.

Не успела дозвучать последняя нота, как Учитель отпустил Келли со сцены директорским взглядом своим и призвал собрание к порядку. Депутат прислал свои извинения, сказал Учитель с той сухостью, какая сшибает с ног предположение, что Депутат вообще мог явиться. Учитель предложил кандидатуру Отца Коффи в Председатели, и после его избрания прямым голосованием Отец Коффи предложил Отца Тома в Почетные президенты, после прямого голосования за которого Отец Том предложил Учителя Куинна в Секретари. Учитель был холостяком, на которого Отец Том полагался не только как на местный источник сведений, но и во всем остальном, включая и то, что требовалось сделать в приходе. Учитель Куинн попросил миссис Риди вести протокол, и та, хоть и так уже вела его, соблюла приличия, сделав вид, что для нее это неожиданность и честь, и согласилась, кратко мотнув непоколебимыми кудрями и макнув кончик пера в чернила, дабы запечатлеть свое назначение. Выборы состоялись в точности так, как были отрепетированы накануне вечером в приходском доме, Учитель Куинн начал собрание, объявив первым самый маловероятный пункт: Фаха обошла Булу и стала Штабом Электрификации всей округи.

Для многих больше ничего говорить и не требовалось, а для остальных участников собрания подробности того, что из этого следовало, клубились, подобно туманным формулам тех времен, когда все они были узниками в классе у Учителя.

Итак, поскольку решению этому предстояло фундаментально повлиять на мою жизнь, я на нем задержусь – а еще я временами размышляю о природе случайности. Раздумываю, чем бы стала моя жизнь, если бы не то решение и если б не появился Кристи в саду у Дуны в тот вечер Страстной среды сразу после того, как прекратился дождь.

Учитель продолжал, расписывая в подробностях, чего ждать Фахе в ближайшие недели. Во-первых, предстоит найти подходящее помещение для штаба – такое есть у Тома Клохасси. Следом понадобятся склады – уличные складские помещения для всякого разного... и Том влез перед Бурком, предлагая владения покойной миссис Макграт, которая по неведомым причинам стала третьей пенсионеркой, оставившей Тому в наследство свой дом.

Осваиваясь в своей роли, Учитель прочел вслух список того, что электрикам предстояло хранить: металлоконструкции, укосины, козлы, штыри изолятора, поддерживающие зажимы, такелажные скобы, стержневые заземлители, поперечины, гайки и болты всевозможных размеров, разъемы, наконечники-заглушки, пробки, воздушные выключатели и изоляторы для предохранителей высокого напряжения и низкого напряжения – договорил он, ни на йоту не понимая, что это все такое, но осознавая мощь сказанного и употребляя в дело все свое сценическое мастерство до последней унции, а также тридцать лет знакомства с этими подмостками. Алюминиевые проводники производства Алюминиевого союза в Канаде, сказал он, уже идут морем и скоро придут. Работы займут несколько месяцев. Командированным сотрудникам бригад понадобится жилье, среди этих сотрудников Сельский Инженер, его помощники Сельский Стряпчий, Сельский Уполномоченный и Сельский Надзиратель, а также несколько электрификаторов. Вдобавок, объявил Учитель, от сорока до пятидесяти работников общего профиля необходимо будет нанять среди местных. Это произвело в публике некоторое оживление.

– По всей стране предстоит поставить один миллион столбов, – сообщил Учитель. От этого непостижимого уму числа захватывало дух, а визионерская дерзость всего предприятия потрясла умы обитателей Фахи и заворожала многих необращенных. *Один миллион столбов.*

9

Столбы, как выяснилось, окажутся не ирландскими. Ирландский лес, как нам было известно со школы, свели для флота лорда Нельсона, и лес теперь лежал в глубинах вместе со всем остальным адмиралтейством. В результате всестороннего изучения, что в те дни означало отправку кого-нибудь разузнать, Комиссии стало известно, что лучше всего приобретать столбы в стране Финляндии. И послали они в Финляндию своего лесника Дермота Мангана. Севернее Дундолка Манган не был ни разу в жизни. Он протопал по снегу напрямик в хельсинкскую контору господина Онни Саловарры, встал, опасно подтаивая, у яростной печки и сообщил, что от имени и по поручению Ирландского государства явился договориться насчет столбов.

Господин Саловарра счел Мангана диковиной. Не оставил без внимания комедию одеяний, которые ирландцы сочли подобающими финской зиме. Обувь – обувь была ненамного крепче картонной, и эта черта неизъяснимо тронула господина Саловарру, создала образ страны бедной, но отважно стремящейся превозмочь свои обстоятельства. Впрочем, бизнес есть бизнес. Как всякий, кто вынужден хитрить против зверского климата, господин Саловарра воздержался от сантиментов и предложил раздутую цену в четыре фунта стерлингов за один столб.

Манган нахмурился и еще немножко подтаял. Не был он барыгой, дела вел преимущественно с пилами, но ему было велено торговаться до трех фунтов и десяти шиллингов за столб, а если подвижек не получится, сказал ему секретарь Министерства, намеки на Норвегию, финнам это не понравится.

Манган сел. Сказал, какая жалость, что пришлось ехать в такую даль зазря. Сказал, что надеялся повидать во всей их славе финские леса, какие полагал он лучшими на всем белом свете, но теперь придется двигаться дальше, в Норвегию.

Господин Саловарра предложил три фунта и десять шиллингов за столб.

Манган сказал, что пошлет весточку Правительству, и поинтересовался, где тут ближайшая контора телеграфа.

Вот прямо здесь, отозвался господин Саловарра и улыбнулся. Такими зубами, как у него, можно было б драть рыбью плоть.

Манган записал слова телеграммы. Прошу вас это отправить, сказал он и передал состав телеграммы через стол господину Саловарре. Сообщение было составлено на ирландском.

Манган пересек стильную улицу и вступил в тропики деревянной гостиницы, где непрерывно топили три печи, а пол в вестибюле вечно пятнало мужское таяние. Номер у Мангана был спартанский, зато прямо над стойкой регистрации, и от жара Манган довольно-таки спекся. Половицы в номере усохли и трещали, как старческие кости, зато высушили Мангану ботинки в два счета. В те же два счета дратва на ботинках приказала долго жить, и Манган услышал, как тихонечко лопаются обувная нить и отваливаются подметки. Рыба, которую он съел на ужин, была крупнее тарелки. Манган понятия не имел, что это за рыба такая, но если солить хорошенько, можно и дровами питаться – так думал Манган.

Назавтра он вновь отправился к господину Саловарре и получил телеграмму с ответом Правительства, тоже написанным на ирландском. В переводе он звучал так: “Рады предложению. От имени Государства примите”.

Манган глянул на господина Саловарру – зубы у того улыбались.

– Предложение отвергнуто, – сказал Манган.

Господин Саловарра ушам своим не поверил.

– Смотрите сами, вот, – сказал Манган и огласил вслух непроницаемо резкие звуки ирландского языка. Завершил с шиком, прочтя подпись: – *Ан т-Уасал О Дала*³³.

Господин Саловарра поинтересовался, что означает *Ан т-Уасал*, и Манган пояснил, что в ирландском мы не забываем о своем благородстве и величаем себя сообразно.

Господин Саловарра предложил три фунта за столб.

В общей сложности между Хельсинки и Дублином прошло десять телеграмм, все на ирландском, и, поскольку на ирландском и потому не пригодные к переводу в Финляндии, им удалось предъявить ту степень несговорчивости, какую Манган считал уместной. В конце концов, сломленный непреклонной суровостью гэльской речи, господин Саловарра уступил столбы по два фунта стерлингов за штуку, и на том переговорышки ударили по рукам. Истинный факт.

Но тем дело не кончилось. Теперь, опасаясь, что другая сторона воспользуется недостатком опыта у покупателя, Комиссия по электроснабжению настояла на том, что каждый столб необходимо проверить, замерить и одобрить лично Мангану и только затем отправлять в Ирландию.

Манган сообщил господину Саловарре, что придется остаться в Финляндии на несколько месяцев. Северные леса предстоит навестить лично.

Господин Саловарра поднял к себе на стол подарочную пару подбитых овчиной ботинок на шнурках и коротко почтительно поклонился.

– *Ан т-Уасал*, – произнес он.

Отправился Дермот Манган на саях в заснеженные леса Финляндии. Не принял он предложения профилактически нанести себе на губы жирное масло, и губы растрескались, как розовая краска, и рот у Мангана превратился в глянцевику ссадину – пока не научился он читать свое местонахождение и не намазал себе все лицо. Однако ж поздно, спасти ресницы не удалось. В лесной чаще царили сверхъестественная тишина и дух начала времен, и Манган без удивления узнал о финском поэтическом эпосе “Калевала”, в котором земля сотворена из кусочков утиного яйца, а первый человек, прозывавшийся не Адамом, а Вяйнямёйненом, начинает с того, что насаждает в голую землю деревья.

Манган подался в леса. Леса были ему идеальной средой обитания. Облачился он в меха да в ботинки господина Саловарры и пошел от столба к столбу, помечая каждый своим знаком, выбирая те, какие позднее исчеркают зеленые просторы Ирландии. Он стал историей, и история та хорошо известна бригадам электриков, что явились в Фаху, рассказали ее так и эдак – по обстоятельствам то подробнее, то приблизительней. Но факт таков: в последующие тридцать лет с мая по декабрь неизменно вез какой-нибудь корабль столбы из Финляндии в портовые склады Дублина, Корка или Лимерика. Байки ради иногда не грех и отправиться вглубь страны, отыскать какую-нибудь тихую дорогу, где время растворено дождем, глянуть на призрачные поля, что некогда были возделаны, – и увидеть там все те же столбы, на какие *Ан т-Уасал* Манган возложил стылую длань свою в лесах Финляндии.

* * *

Я слегка увлекся.

Время на этой планете допускает такое.

Кости времени – факт.

Когда Учитель Куинн заикнулся о подрядах, каждая женщина в зале ткнула локтем в бок своего мужчину – такая вот человеческая концертная возня. И хотя Суся понимала, что задача стояла нанять молодых сельчан, а Дуна молод не был, Дуна ткнула она тоже. Перспек-

³³ *Ан т-Уасал О Дала* (ирл. *An tUasal O Dála*) – господин Дэли (букв. “благородный потомок (члена) собрания”).

тива добыть работу всплывала в грядущие недели вновь и вновь. Иногда с тщательной неприужденностью Суся по-керрийски ловко вворачивала это в разговор:

– Молодой Карти, бают, работенку себе добыл со столбами с этими.

И Дуна всякий раз откликнулся с неподдельным интересом:

– Да неужто?

– Так говорят.

– Молодец какой он, Карти-то.

– Мог бы спросить.

– Есусе, спрошу.

– Может, им опытные нужны.

– Это правда.

Засим продолжал прилежно мазать свой хлеб маслом, и как-то, чарами намерения, выходило, будто у него теперь есть работа, а потому и наниматься незачем.

Жена с немалой точностью представляет себе пределы возможностей собственного мужа, а потому сердцем Суся уже смекала, что не станет наниматься на ту службу Дуна, однако в природе человеческой заложено мечтать, а во вздорной природе брака – надеяться, что время уладит непримиримое. Наконец, признав действительность, Суся пошла другим путем и решила приютить одного из постояльцев-электриков.

И вот теперь, отоспавшись, является он, спускаясь задом по трапу в одних носках, здоровенная машина в незаправленной рубашке, вихры во все стороны, глаза сонные, нисходит на каменный пол и публиче из трех нас объявляет:

– Постель райская.

Возможно, с непривычки Суся отозвалась на комплимент бесцеремонностью.

– Вон еда, – сказала она и отвернулась.

Мы уселись за стол к постной трапезе. Яиц было с избытком, но их приберегали для Пасхального воскресенья, а потому подана была морская капуста, просоленная так, что вечно не испортится, и жареные оладьи из картофельного пюре, присыпанные луком, какое блюдо с девятнадцатого века Дуна прозывал “панди”. Суся принесла с очага чайник чаю, настоявшегося сверх всякого времени, и никакой сахар его не брал. Кристи вел себя так, будто горечь чая он не улавливает, а трапеза – пир. Пусть не в силах я был облечь это в слова, меня, думаю, уже потрясло то, что стану я именовать щедростью его духа.

Мы с Дуной сделали вид, будто не подглядываем за Кристи. Я заметил, что Кристи был *китог*³⁴, а в ту пору их таких было мало, почти всех левшей переучили Сестры, Братья³⁵ и Учителя с единым для всех убеждением: мир сплели пальцы Господни с правой руки. Кристи ел с аппетитом и смаком, все тогдашние матери одобряли такое, но я в итоге задумался, когда же он последний раз вообще ел.

– Трудная это работа – электричество, – объявил Дуна с блаженным всезнайством.

– Ой нет, не особо-то, – сказал Кристи.

Чтоб не уступить в мужском фарсе кажущейся умудренности – или чтоб преодолеть факское ощущение несуразности, – мой дед изумил всех несогласием.

– Особо, особо.

Суся повернулась от мойки и глянула на недоразумение, за которое вышла замуж.

– А штыри-то изолятора, а поддерживающие зажимы, – проговорил Дуна.

Возникла изумленная пауза – мы с бабушкой заподозрили, что галлюцинируем.

³⁴ Китог (ирл. *ciotóg*) – левша.

³⁵ Имеется в виду католическая организация “Ирландские христианские братья” (осн. 1802, ныне “Собрание христианских братьев”), созданная в первую очередь для продвижения католицизма среди молодежи.

– А все эти стержневые заземлители, поперечины – и разъемы, конечно же, – добавил Дуна, словно знал, что эти последние трудны особенно. Спектакль Учителя Куинна запечатлел этот список навсегда, и волшебной силою театра, а также человеческой нуждой в игре воображения Дуна словно бы уверился, что нанялся-таки на работу, когда Суся его подталкивала, действительно стал электриком – и уже некоторое время был им.

Воодушевленный диковинной технической словесностью, Дуна гнул свое:

– Заглушки-наконечники. Концевые которые. И воздушные выключатели. – Медленно покачал он крупной своей головой в знак памяти о досадных случаях с воздушными выключателями, но тут вдруг замер. Больше ничего вспомнить не мог. У него исчерпались реплики. Знал, что это не всё, но из кулис никто не суфлировал. Дуна растерянно глянул на свою публику, спектакль его сдуся, но тут в памяти у него щелкнул некий тумблер, Дуна дважды сморгнул, стукнул указательным пальцем по столу и добавил: – Конечно же, беда бывает и с изоляторами высокого и низкого напряжения.

То был миг торжества и зрелищности, достойный петуха Конуэя. “Что ты на это скажешь?” – говорил его взгляд, брошенный на Сусю, словно вся его речь была выражением любви, красноречивая именно тем, что прозвучала на электрическом жаргоне. Покончив с речью, Дуна дернул себя за подтяжки и вновь принялся резать помидор.

Но триумф был мгновенно погублен, когда Кристи, то ли впечатлившись перечислением, то ли равнодушный к комедии, повернулся к Дуне и спросил:

– Не желаете ли наняться?

Земля у Дуны из-под ног ушла напрочь.

Зная, что Суся не сводит с него пристального взгляда из-за круглых своих очков, Дуна виду не подал. С хладнокровием игрока в шашки со стажем длиною в жизнь Дуна вдохнул так, как вдыхают перед прыжком. Отложил нож. Заглотил полумесяц толстокожего помидора вместе с неудобоваримой истиной, что судьба, какую он ухитрялся обходить так долго, явилась к нему на порог и уселась рядышком.

– Желаю, само собой, – молвил он. При персоне его всегда имелся обширный носовой платок, что в ту пору было довольно обычно; Дуна извлек его и скрыл выражение лица, вострубив в этот самый платок так, будто на дворе золотой девятнадцатый век медных духовых.

На молитвы, возносимые в Фахе, ответа не поступало никогда, а потому земля, в свою очередь, ушла из-под Сусиных ног. Суся осталась стоять у мойки, крутя в руках ветошку.

Мой дед прибрал в карман белый флаг носового платка и теперь потягивал и глотал кислый чай.

– Но, между прочим, – сказал он, – знаю я того, кто передо мною в очереди. – На круглом лице его сложилось выражение обреченного принятия, и затем, мастерски выскальзывая из невообразимых пут, он, словно оживший дорожный знак, плавно взмахнул рукой и указал на меня.

10

При всей строгости и въедливости, присущей любому реалисту, о том, что ей делать с постояльцем по вечерам, моя бабушка не задумалась. Развлечений имелось немного, и вечер сам собою тяготел к чтению розария, с приближением чего Дуна тут вдруг вспомнил, что Бат Консидин попросил глянуть на его хворого теленка, и потянулся за шапкой. Как почти весь остальной мир, Дуна во всем был любителем, но предлагал ветеринарные советы с крепкой опорой и на полные, и на едва ль не полные провалы в собственных сельскохозяйственных потугах. Подался Дуна к задней двери, но, прежде чем поднять запор, произнес:

– Ноу, своди гостя в деревню.

Как я уже говорил, в то время я остался без твердой почвы под ногами и, не состоявшись ни как священник, ни как дублинец, был последним человеком, кому полагалось вести Кристи в Фаху, однако Дуна был хитер, как семь лисиц.

Кристи был заметно ниже меня ростом, но из почтения к своим габаритам или возрасту взял Дунин велосипед покрупнее, а я – который поменьше, Сусин. Водились где-то велосипедные прищепки, да поди найди их. Правый носок выдерживал чрезвычайную вахту и черным был кстати, терпел пятна масла без всяких жалоб. Видали б вы нас, неподходящую парочку, мелкого и здоровенного, – как выкатились мы неуверенно со двора.

Фары на тех велосипедах давно барахлили. Невелика была среда обитания у моих пра-родителей, а потому потребности в фарах они не ощущали – в отличие от нас, и мы ловили каждый бугор и рытвину и устремлялись в надвигающуюся ночь рывками и скачками.

– Бог мой, – промолвил Кристи, – звезды.

С уходом дождя вечернее небо явило себя в миллионе искр. Оно казалось распахнутым, будто предыдущие небеса, как сейчас я вдруг осознал, были закрыты. Поскольку время электрического света не началось, поскольку находились мы у края Вселенной, а также потому, что обычно заслоняли их непроницаемые облака, звезды теперь висели с обнаженным изумлением. Едва ль поверишь, что вчера находился в этом же мире.

Кристи катил на велосипеде плавными извивами, запрокинув голову. От его грузности на велосипеде, от того, как жал он время от времени на педали, и от общего отсутствия устремлений достигать какого бы то ни было пункта назначения предстояло неопределенно долго. Деревня могла находиться в десяти, двадцати милях отсюда, а Кристи несколько не спешил и, казалось, довольствовался минимальным движением вдоль малых подъемов и спусков дороги в западном Клэр. Если поглядывал я на него, то, сказал бы, он почти улыбался, и, возможно, думал я, есть в Кристи нечто от бедняги Матью Пула, считавшего, что жизнь слишком потешна, чтоб облекать ее в слова, и время от времени тихонько хихикавшего про себя. Совершенно безобидно.

Случайные безмолвные фигуры возникали из тьмы – летучие мыши, пешеходы, велосипедисты, а также непостижимо стоявшие просто у канавы и глядевшие в слепые поля. В Фахе никто никого не минует, не кивнув или не помахав рукой, что я и делал, памятуя о том, что, даже просто катясь мимо, мы с Кристи вшиты в ткань этих мест: *знаешь кого я видал сегодня вечером?*

– Когда последний раз ехал на велосипеде, я сматывался от человека, желавшего меня пристрелить, – сказал Кристи то ли себе, то ли мне, разобрать я не смог.

Так или иначе, что на это отвечать, я не знал. Не понимал я пока своей роли как слушателя и не владел искусством отклика, коим движима повесть. Кристи глянул на меня, однако в полутьме я сосредоточился на колдобинах. Мы ехали дальше.

– Дело было в Боготе, – сказал Кристи.

Он ехал за мной, тщетно пытаясь догнать. Я промолчал. Слишком уж причудливо, какое там комментировать. Чуть погода я услышал:

– В Колумбии.

На извилистом уклоне дороги у дома Фури мы катились, не крутя педали, я слегка поигрывал тормозом, и Кристи почти поравнялся со мной.

– Велосипед не быстрее пули, – молвил он, слегка запыхавшись. И вновь подкачал я с откликом.

Мы оставили велосипеды наверху у кузни и оглядели деревню внизу. Кристи, казалось, нервничал. По-моему, я это заметил. Он осматривал кривую улицу, но не стремился двинуться дальше.

Пабы в Фахе оживленными не были почти никогда, большинство омертвевшие, самое естественное их состояние – после похорон. Ближайший к кузне – заведение Кравена. Не совсем в деревне, скорее на околице, словно для того, чтоб ублажить тех, кто прибыл с запада и еще тридцать ярдов жажды не выдержал бы. Из отчаяния возник тот паб, оборудование и убранство в нем соответствующие.

Кристи оказался в дверях вперед меня.

Сумрак, сырость, смрад едкий и бурый, пронизанный багровыми языками парафина и покровами дыма. Хозяйка, трижды вдова, была женщиной, чье имя со всеобщего и ее личного позволения эволюционировало до Буфы – возможно, потому, что так Мик Руган именовал ее буфера, громадных размеров, отрастившие себе в поддержку барную стойку.

Из трех браков Буфы не родилось ничего, кроме Ру³⁶, рыжей трехногой псины, что скакала, питалась недоеденным и пролитым, и в чьих беспокойных глазах, как считала Буфа, боролись друг с другом три Буфиных супруга.

В приходском доме имелась экономка, миссис Дивин, и, как и всюду в те времена, положение это было высокопоставленное. Миссис Дивин не разглашала никаких внутренних дел во владениях своих нанимателей, но, исходя из часовой точности ее натуры, было известно, что когда она покидала по вечерам приходской дом, священники почивали, ограничения Страстной недели ослаблены, а пабам можно открыться. И тогда, подобно теням, клиенты со впалыми очами, днем державшиеся законов поста и воздержания и, номинально, отказывавшиеся от выпивки на время Великого Поста, возникали на улице и с подобающей робостью людей, являющих миру свою уязвимость, застенчиво подбирались к стойке и заказывали одними глазами.

Когда зашли мы с Кристи, из неудержимого любопытства клиенты на миг слегка подались вперед, увидели нас и убралась даже дальше прежнего: интерес в окружающих, вероятно, гаснет в алкоголе одним из первых. У Кравена водились стаканы, они заполняли полку за барной стойкой, и их, возможно, когда-то мыли, но клиенты предпочитали бутылки и сидели вдоль стенки, молча посасывая, с диктуемой мочевым пузырем частотой спотыкались вон через заднюю дверь, где, повинаясь природе, мочились вялыми петлями в общем направлении реки. По ходу вечера некоторые добирались лишь до двери и возвращались с расписными брючинами.

– Хозяйка, – радостно поприветствовал Кристи Буфу.

Ресницы у Буфы приспустились и вновь вскинулись.

– Две бутылки стаута.

Та не шевельнулась.

– Вы электрики, – произнесла она.

– Они самые.

Глаза у Буфы были малюсенькие. Размещались они на шишковатой голове, и пока Буфа разглядывала Кристи, ни голова, ни какая другая часть Буфы не двинулась ни на дюйм.

³⁶ Ру – скорее всего, от ирл. *rua*, рыжий.

– Не надо мне его, – сказала она. Затем улыбнулась. На сдутых футбольных мячах случаются улыбки слаще. – Я подписалась, но теперь не надо.

Кристи кивнул.

– Зачем оно мне? – спросила она у Сольцы Перца, владевшего даром сгущаться у стойки. Сольца был клиентом интеллигентным: посредством аристотелевской и иезуитской логики он постановил, что пусть Великий Пост и предписывался человеку на сорок дней и ночей, однако истинно между Пепельной средой и Пасхальным воскресеньем сорок шесть дней, а это подтверждает, что Господь наш желал, чтоб у рода людского имелось пространство для маневра. – По мне разве видно, что я это потяну? – спросила Буфа. – Я одинокая дама, понимаете? – Она помотала головой и, применяя уловку, завлекшую трех ее мужей, вскинула ресницы до упора и затрепетала ими.

Кристи сбежал на лавку с двумя бутылками стаута.

Далее – смазано.

Знаю, что первую бутылку я не пил. Бутылка Кристи опустела вмиг, и он, предоставив мне глазеть на свою, сходил к стойке и вернулся еще с двумя. Следом однозначно состоялись еще две. Теперь меня дожидались три, и перед двумя последующими я, возможно, принялся если не сосать, оговорюсь, а едва целовать губами горлышко бутылки и потягивать то, что казалось отрыжкой, но силою кислот и ферментов желудок мой освоился, и две дальнейшие бутылки оказались не совсем ужасными.

С двумя последующими Кристи запел.

К слову, у Кравена заведение не из таковых, и когда Кристи встал и возвысил голос, это пение тут же миновало пересуды и сплетни, превзошло славу того вечера и устремилось в распахнутые двери фахского фольклора – не только потому, что в целом противоречило учению и практике Церкви в Страстную неделю, не только потому, что нарушало то, что сходило за приличия (во всех заведениях имелись свои законы пристойности, а Кравеново было местом отчаяния, дальше падать здесь было некуда, здесь ложились на дно и таились во тьме, а поскольку подбиралось тут общество единомышленников и единомышленниц, сознать, как низко ты пал, не приходилось), нет, не только потому, что нарушалось извечное неписаное правило “здесь не поют”, а из-за манеры того пения. Кристи не просто пел – он пел, закатив глаза и сжав кулаки у боков, балладу о любви пел. Он пел ее в полную глотку и во все сердце и не успел добраться до второго куплета, как стало ясно даже псу Ру: здесь присутствует некая пылкая правда. Не только не происходило такого у Кравена – оно было до того оголенным, глубоко прочувствованным, что даже тем, кто, помаргивая, спустился в тени и полутени бесчисленных бутылок стаута, оказалось оно мгновенно очевидным, и те, кто сперва было глянул, отвели взгляды.

Кристи пел. Я не смогу описать вам, до чего это ошарашивало. Если верите вы в душу, как верю в нее я, душа моя тогда встрепенулась. Песню сочинил не Кристи, однако благодаря алхимии исполнения казалось обратное.

По-моему, то качество, какое делает любую книгу, музыку, картину достойной, – сама жизнь, вот и все. Книги, музыка, живопись – не жизнь, никогда не стать им столь полными, богатыми, сложными, удивительными или прекрасными, однако лучшим из них удастся уловить отзвук, они способны повернуть вас и заставить глянуть в окно, выйти за дверь в понимании, что вас обогатили, что вы побывали рядом с чем-то живым, они помогли вам еще раз осознать, до чего поразительна жизнь, и вы оставляете книгу, покидаете галерею или концертный зал с этим озарением, которое ощущается как – собираюсь я сказать – священное, под чем подразумеваю человеческую упоенность.

И как раз в пении том было такое свойство, такая жизнь.

Оговорюсь: я не утверждаю, что Кристи был великим певцом – или даже певцом хорошим. В мире хватает критики, а техничность, тон, тембр и все прочее не имели никакого зна-

чения просто потому, что от этого пения замирало сердце. Пение это брало за него и не отпускало. Оно сообщало: *Слушайте, вот перед вами человек, пострадавший от любви*. И далее: *Вот болящее сердце*, и боль та была такой громадной, нестерпимой и знакомой, что все способны были ощутить ее и тем поучаствовать в чем-то, что сами вы слишком застенчивы, замкнуты или не удостоились того, чтобы лично постичь, – или постигли в далекой давности своего целомудрия, на коем с тех пор нарастили шкуру, необходимую для того, чтоб вынести ту потерю и остаться в живых.

Он пел. После первых нескольких фраз я не мог на него смотреть. Никто не мог. Казалось, что на такую близость у тебя нет прав, однако понятно было, что тебе досталась эта привилегия, и ты не дерзал шевельнуться, чтобы не разрушить то, что позволило происходящему случиться. Кристи пел любовную песнь так, что ты осознавал действительность, она существовала не вне, а вместе или даже внутри той, к какой привык. Эта песнь пробуждала. И ты думал, что, невзирая ни на какие случайности и обстоятельства, есть человек, которому удалось избежать необременительного презрения к песням и историям о воздыханиях и любви, каковые другие люди применяют как меру зрелости, будто песни эти и истории – игрушки юности. В том месте, что было упорно и сумрачно самцовым, Кристи придал духу нежности. Никак яснее выразиться я не сумею.

Когда песня завершилась, Кристи сел. Аплодисментов не последовало, от примерно десятка душ вдоль стен впотьмах не донеслось ни единого звука. Кристи сидел напротив меня. Лоб его, как у человека в муках, покрыло бисером пота. Кристи мазнул тылом ладони по губам. Я молчал. Понятия не имел, что мне делать. Словно Кристи сидел передо мной нагишом. Следом за близостью слова казались неуклюжими, и, чтобы придать мигу завершенность, я сделал то единственное, на что был способен. Отправился к стойке и взял две бутылки стаута.

Две следующие, наверное, и стали виновниками.

Две после них – несомненно, теперь уж никаких, совсем никаких вопросов не осталось, поскольку на том рубеже некие тени принялись шаркать мимо, ноги делались то свинцовы, то словно блины, руки искали незримых поручней на пути из тьмы во тьму за дверь и бестрепетно по домам. Последним был страж правопорядка Гриви, сидевший в пабе, как выяснилось, с того самого времени, как миссис Дивин покинула Приходской Дом через дорогу от казарм. Вопреки часам, календарям и всяким там законам, принятым в далекой столице, страж Гриви хранил внутри себя самого полномочие Времени Закрытия, и когда задумчиво подобрался он к двери и бросил на нас свой сержантский взгляд, мы с Кристи осознали, что пора нам встать и уйти.

Следом мы осознали, что не можем.

О подъеме с места теперь оставалось лишь грезить. Имелось о нем представление – совершенно ясное. Теперь уже безошибочно ясное. Руки уперлись в колени, чтобы вытолкнуть корпус вверх. Было это *вот сейчас*. Было и следующее, когда предыдущее ни к каким действиям не привело. И дальнейшее *сейчас же*. По-прежнему никак. Между мыслью и глаголом – пустота, не намеренная, но и не горестная, лишь мягко недоуменная, в том недоумении – осознание, что у Кравена вообще-то не такое уж паршивое место, а прямо-таки уютное, и даже более того, мало на этом свете мест столь же приятных. Правда ли это? Более чем. Человек мог остаться здесь, остаться прямо здесь и быть вполне счастливым, вполне, – и очень долго. Куда спешить? Некуда. Все передрыги этого мира можно уладить тут.

Ладно.

Двинемся, что ль?

Двинемся.

Наконец, самую малость качнувшись назад, чтоб поддержать рывок вверх, я восстал и обнаружил, что грани этого мира все наперекосяк, а на пути у меня стол, уставленный бутылками. Грохот мгновенно открыл Буфе глазки-бусинки. Подпертая стойкой Буфа пребывала в

грезе о трех своих мужьях, грезу эту сочла более увлекательной и повторно смежила веки. Кристи укрепил меня на ногах. Что равносильно было опоре на волну.

Кажется, я тщательно обдумал, не собрать ли бутылки и стекло. Я, несомненно, оглядел их сверху, однако расстояние оказалось непомерным. Кристи держал меня под руку, и вот уж игриво плыли мы вон.

Ночной воздух – сироп. Я глотнул, подавился. Воздух будто был новой стихией – или же я оказался не в своей. Голова была пушечным ядром, а теперь стала воздушным шаром.

С бархатных небес соскальзывали звезды. Можно было ставить их на место, впившись в них взглядом и медленно-медленно поднимая голову. *Стойте, звезды*. Но, чу, между домами катится река. Гонит вдоль берегов. Крутнуть головой из стороны в сторону, чтобы глянуть, – и звезды вновь сползают вниз. *Звезды, вернитесь наверх*.

Фаха, крепко и некрепко спавшая, была предметом нежным и безмятежным, извив деревенской улицы – как детский рисунок, не ведающий ни истории мира, ни порока его, всякая лавка замерла, всякий дом смежил очи, ослеп и нахохлился возле ближайшего соседа своего, церковь царственна, сера и сурова, как часовой.

Вот бы еще стояла ровно.

Единственные предметы, пребывавшие в движении среди покойной этой сцены, мы с Кристи скользили себе дальше. В зыби крови и ума посетил меня образ галеона. Короткая и высокая мачты – мы двое, старик и юнец, враскачку. По причинам слишком глубинным или очевидным из меня журчащими, скажем так, строками, какие в школе выучены были наизусть и в ритме, накрепко с ними связанном, заструилось, привольно потекло:

– “Тут с места встал дворянин пожилой и молвил с поклоном так: «Сэр Патрик Спенс из всех моряков – самый отважный моряк»”³⁷.

И, словно подхватывая припев, вступил Кристи:

– “Самый отважный моряк”.

Фахским Шекспиром был Феликс Пилкингтон. Он выглядел как Шекспир и говорил как Шекспир, каким Фаха его себе представляла. В те дни находились такие люди – примечательные чудачки, мужчины и женщины, кто благоденствовал в глуши и питал неповторимость человеческого гения. О теперешнем времени сказать не могу. Настоящий феномен, Феликс не испорчен был ни успехом, ни славой за пределами нашего прихода, однако умел сочинять на ходу, в рифму или пятистопным ямбом – на ваш вкус, импровизировать стихотворения по любому случаю, творить трагедию, комедию, историю, пастораль, пастораль-комедию, историческую пастораль, трагисторию, трагикомическую историю. О Иеффай, судия израильский, вот это сокровище, но даже Феликс Пилкингтон посрамлен был бы живостью того, что поперло из меня, пылкого и качкого на Церковной улице в Фахе.

– “О Розалин, любовь моя, не плачь инегоруй идеткнампомощьвижуя средьокеанских-струй”³⁸.

– “Средь океанских струй”.

Что еще я декламировал – не упомяну. Поэтические антологии двух государственных экзаменов вбиты были в мой мозг хорошенько. По большей части они все еще там. Уверен я лишь в том, что дело было глухой ночью, Кристи держал меня за руку и по бессеверному компасу мертвецкой пьяни привел нас наконец к велосипедам.

Возвращаясь невесть с каких домашних танцулек, призраками проплыли мимо нас две сестры Доннеллан. Одна забурлила смешком, а вторая подхватила ее под руку и потащила дальше.

³⁷ “Сэр Патрик Спенс” – шотландская народная баллада, пер. О. Румера.

³⁸ “Темнокудрая Розалин” (*Dark Rosaleen*) – стихотворение ирландского поэта Джеймза Кларенса Мангана (1803–1849), пер. И. Шафаренко.

Кристи медленно покачал крупной головой, а затем произнес то, что никогда не доходило ни до одного урожденного фаханина:

– В этом приходе роскошные женщины.

Мы стояли, заявлением этим мгновенно обездвиженные. Затем Кристи возложил руку мне на плечо и направил наш путь.

То, что мы отчалили, что после попыток ухарских и решительных взобраться на эти мудреные приспособления, велосипеды, мы наконец покатались в глубокую тьму, стало свидетельством доблести людей блаженствующих и достижения мозгов сокрушенных. Но в путь мы двинулись прекрасно, имейте в виду. О, как прекрасно. Гладко поплыли. Кристи и я, коренастый и высокий, старый и юный рыцари, выехали верхом на мягкий спуск дороги прочь из Фахи, словно бы сама дорога поддерживает тебя в том, чтобы ушел ты, и без всяких усилий движешься прочь. Река по одну сторону, взьерошенные поля по другую. В тех полях статуи лошадей со звездными глазами, скотина, недвижимая, как на игрушечных фермах. Незапамятный дух растущей травы, кокосовый аромат дрока и глубокое, трогательное, пусть и мимолетное ощущение полного благополучия.

Освобождающая это штука – скользить во тьму. Теперь, когда вхожу я в Четвертый Возраст, в Возраст Завершения, как говорят, вспоминаю о той велосипедной поездке и напиваюсь отвагой. Дорогу, которой устремлялись, мы едва видели. Завернули возле Фури, проехали мимо Консидина и обнаружили, что велоезда вслепую – само по себе искусство и что в каждом миге спрессовано знание, как этим искусством овладеть.

– Ого ух ты! – кричал Кристи.

– Ого ух ты! – кричал я, и оба мы были счастливы, как язычники, под теплым дыханьем ночного неба, жали на педали в мальчишеской запарке слепой инерции и ночной скорости, а потому упустили поворот у Кроссана, перли себе прямо и прямо, и в распахнутые Кроссановы ворота, и по диким колдо-до-добинам и внезапным чвак-чвак-чвакам тамошних заболоченных лугов, где мое переднее колесо увязло в камышовой канаве, и сам я, и вопль мой, и струя бурой блевотины устремились над велосипедным рулем и единый долгий и возвышенный миг великолепно летели, а затем произошло приземление лицом вниз – в холодную лужу и жижу действительности.

11

Милостью новых глав настало утро.

Господь любит ослов и берегает для них особое милосердие, а потому проснулись мы в чердачной спальне, ничком, полностью одетые, на постелях, но без памяти о том, как здесь очутились. Я лежал и моргал в пристыженном свете, а мир сгушался до двух определенностей: первая – мармелад моего мозга распух непомерно для моего черепа, вторая – никогда в жизни не стану больше употреблять спиртное.

Универсален рецепт состояния, в каком полагается просыпаться после эдакой ночи. Одна доля стыда, две – угрызений совести, три – отрицания действительности, а остальное – чистая оторопь. Во рту у меня был наждак, глаза будто на стебельках. Чувствовал себя вне себя дальше некуда, но не без некоторого восторга.

Иногда, быть может, возникало у вас чувство, что появилось в вашей жизни нечто: вы не в силах назвать это, однако словно калитка, в какую вы не заглядывали сколько-то, вдруг распахнулась, и вам незачем и проверять – вы знаете это наверняка. Нет у вас доказательств, ни во что предметно не ткнешь, но вы знаете: что-то распахнулось настужь.

У тростника плотность сказочного леса. Сквозь его темные переплетенья не просачивается ни проблеска света, но все-таки можно распознать, что над головою солнце. Крыша насквозь жива и кажется милосердной, будто с изумлением вскинута, подобно брови, к небесам и радушно принимает вернувшихся, едва ль не забытых. Покуда лежал на постели и пытался измыслить тактики, как бы поднять голову и не поранить себе мозг, я знал, что проснулся днем солнечным.

Теперь-то я знаю, что когда доживаешь до возраста своего деда, жизнь со всеми ее болями обретает черты комедии. В то утро Кристи наверняка ощущал их, но встал прежде меня. К полному бодрствованию он перешел вмиг и не выказал никакой усталости, равно как и не признал никак прошлой ночи, разве что подмигнул мне на пути вниз.

Затуманенный и хворый, я лежал на постели и пытался восстановить хоть что-то постигнутое прошлой ночью. Кристи не был электриком как таковым – в том смысле, что не нанимался в компанию молодым и не пробирался вверх от чина к чину. Это я понял. Прибыл ли он из Мунстера? Сказал ли, что его отец был крепким крестьянином? Это я, возможно, запомнил неверно. Стиль изъяснения у него был мимоходный, я его не понимал, но соблазнялся. История Кристи – сплошные пробелы. Подался он в дорогу, а затем в моря – театр этих его формулировок памятен мне до сих пор, а значит, Кристи их применял. Покуда большой мир воевал, Кристи сновал среди его разобщенных частей, странствовал по Северной, Центральной и Южной Америке, где бывал поваром, цирюльником, плотником, подмастерьем сапожника, наемным матросом, дровосеком, корабелем, книготорговцем и собирателем всяких земных диковин. *В Перу едят багровый картофель. В Вальпараисо океан пахнет цветами. В Ла-Пасе, в Боливии, они носят шляпу поверх шляпы, я там чуть без пальца на ноге не остался.* Примешаны ко всему этому были женские имена, из коих я, кажется, вспомнить смог только середину алфавита, каких-то Мари, Магду и Моник.

В начале вечера мне не хватало хитрости, чтобы тянуть из него истории, а в конце вечера бурые бутылки, как сказала бы Шини О Шэй, разлучили меня с моим тямом. Не могу знать наверняка, что я услышал той ночью, что слышал позднее и добавил к туман-памяти, а что придумал, и недоумение это уже шестьдесят лет углубляется, однако с меньшими последствиями. Мы все в конце концов превращаемся в истории. И потому, пусть сказ и был дыряв, осталось впечатление от жизни, прожитой так, что сделалась она эпосом. Я постепенно осознал в ту ночь у Кравена, что Кристи нес с собой могучую собственную мифологию, но не то чтоб стремился поведать ее – или нуждался в слушателе.

Опровергая распространенную тогда истину, что удачу полагается ловить за морем, Кристи вернулся в Ирландию, владея исключительно льняным костюмом, какой был на нем, и содержимым своего чемоданчика. Нимало не обеспокоенный тем, что прибыл домой в своем Третьем Возрасте и имея при себе меньше, чем было, когда отправлялся он в путь, Кристи откликнулся на объявление Комиссии по электроснабжению, призывавшее сильных мужчин поработать наладчиками сельской электросети. Собеседования проводили в головной конторе на Меррион-сквер в Дублине, но, учитывая двоякую природу ирландского народа и трудности внедрения в традиционные сельские общины, предпочтение отдавали кандидатам из глубинки.

– Я попросил их отправить меня в Керри, – сказал он. – Так и сделали. Я поехал в Сним. Знаешь Сним? – Я не знал. У Кравена Кристи отдал Сниму должное, но я не знал, за что. – Следом я понял, что мне надо в Клэр. – Он хлопнул меня по колену, колено мое теперь вспомнило. Но с чего и что именно Клэр значило для него, какие у Кристи тут цели и сообщил ли он мне о них – все это исчезло в мае утра.

Когда же я наконец спустился, в доме царил кавардак, а Кристи помогал Сусе вытаскивать ее матрас за дверь. Все заливал солнечный свет. Словно благословение, солнце подросло как раз к Пасхе – и к тому весеннему лечебному средству, каким в Фахе считалось проветривание, и оно, поскольку Ной стал частью часового механизма человечества, а Христос – частью приготовлений к Воскресению, уже происходило вовсю. (На Ноя ссылаюсь не походя. Когда-то в детстве, когда топтал я торф в Бриновом болоте, спросил Дуна о побелевших костях исполинских деревьев, оголившихся на срезе болота. “Тут была дубрава, Ноу, во времена Ноя”, – сказал Дуна, словно история эта едва ль не недавняя, и примолк, чтобы всмотреться с радостным изумлением в память об отступлении вод потопа.) Ныне же все окна были нараспашку. Занавески – пижамным шнурком ли, ремнем ли от брюк, подтяжками ли, разлохмаченной соломенной веревкой ли – подвязаны, не только чтобы впустить свежий воздух и выпустить пыль, но и чтоб изгнать зимовку, поскольку Бог, чья милость никогда не подвергалась сомнению, наконец простил все грехи, какие уж там накопила община, и отключил дождь.

Не то чтоб день выдался великолепный. Этого не имею в виду. Просто были свет и облегчение, прояснение, и когда я вышел наружу, то висел в воздухе тонкий, оживленный и обнаженный дух того, что есть в слове *апрель*. С раннего утра Суся и Дуна опустошали дом от всякой одежды и мелкой утвари. Словно оставленные летающими персиянами, повсюду лежали во дворе коврики и ковры. По лавкам – одеяла, подушки и валики. На всех кустах раскинулись не только простыни, полотенца и тряпки, но и без всякого удержу – и даже несколько показательно – трусы и подштанники, нижние юбки, рейтузы и прочая всячина. Ящики опорожнились. Вещи, доселе незримые, вели себя как пляжники, весь живописно облаченный сад вид обрел такой, будто участвует в языческом обряде вроде развески фонариков на деревьях.

Я пристроился, чтоб освободить Сусю и помочь с матрасом, и мы с Кристи уложили его, супружеское ложе сорока лет жизни с отчетливыми вмятинами от Дуны и Суси, на склон, беззастенчиво обратив его к Керри и сиявшему солнцу.

С плескавшейся во мне совестью увидел я два велосипеда предыдущей ночи – они стояли, опертые о торец коровника, знаки дебоша отмыты без всяких комментариев Дуной, который с позволения хорошей погоды подался на болота с Джо.

Заряженная солнцем, но уверенная, что свойство его появления – недолговечность, как у всякой диковины, Суся была сплошь хлопоты. Пока мы с Кристи завтракали чаем и горелым сном, Суся носилась по кухне со стремительностью бабочек, каким приходится уместить целую жизнь в нескольких днях. Опущенные копы солнечного света Господня не ведали жалости там, где проникали под углом внутрь дома. Подобно стоваттным лампам, обнажили они покровы времени на всех поверхностях и воздух, густой от крошечных витающих пылинок. Окна, как выяснилось, были мутны от дыма и заляпаны отпечатками пальцев, ладоней и пятнами, избегнувшими судебного обыска, коим была рождественская уборка, предпринятая

в декабрьской мгле. Ныне же солнце более чем удвоило спехи Пасхи. Со времен, когда историю Голгофы поведали впервые, каждый дом в стране доводили к Воскресению Христову до безупречности, но в Фахе в то утро к прилежанию добавился задор, солнце придало плоти всем метафорам, и пусть и не в поухшей яркости Иерусалима, тем, в ком имелся кладезь такой глубокой и непоколебимой решимости, как у Суси, наверняка виделось, что в этом году Сам Отец готовил сцену для драмы Сына Своего.

Скажу еще вот что. В те времена невелика была культура жалоб. Возможно, я ошибаюсь, но, по моему мнению, тяготы так долго были частью истории, что сделались условием жизни. Не было ожиданий, что все может или будет складываться иначе. Просто живешь с этим и силой веры, семьи и натуры осваиваешься уж как можешь со страданиями и невзгодами, тебе доставшимися. И потому лишь постепенно, за последующие дни, когда подняли они взоры и увидели невероятный простор синевы над головой, те люди начали признаваться себе, что до сих пор жили под сыпавшимися каскадом водянистыми вилами.

В те времена в Фахе бытовало древнее поверье, распространенное во всех дождливых местах, что солнечный свет целителен. Ниже по дороге Минитеры выставили свою белую, слепую, облаченную в сеточку для волос бабусю прямо в ее кресле, где сидела она в цитрусовой грезе об Испании. К полудню мышино-серая затхлость, царившая в каждом доме прихода, которую люди считали запахом рода человеческого, принялась растворяться и таять. Некоторые одеяния, вынесенные во двор, исторгли из себя бурые стаи моли, чьи личинки относились ко временам Парнелла и теперь на лету обращались в пыль. Я их видел, но не помнил пятьдесят лет, пока не заметил, как дробится точками на экране это число. Моль пасхальная, сказал я вслух, и они полетели в памяти моей и вновь растворились, как это бывает с мельчайшими мелочами в жизни. Многие наряды, жившие уже займы, оказались ветхи и в крепких пальцах солнца принялись распадаться. Выставленная вовне голенастая мебель затрещала в асимптотической последовательности хворей, на какие вскорости не стали обращать внимания, поскольку сочли их костяной музыкой Воскресения. Некоторые вещи, неуязвимые для времени и тлена, оценены были соответственно, вынесены на улицу исключительно по причине очеловечивания – свежий воздух им на пользу – и чтобы полки, где жили эти вещи, можно было протереть от пыли. Так Суся вытащила два предмета лиможского фарфора – свадебный подарок от хозяина гостиницы в Кенмэре, где Суся трудилась посудомойкой, – розовое стаффордширское блюдо из собрания, так никогда и не собранного, два латунных подсвечника, какие служили свою службу только на Рождествах и похоронах, где, подобно официальным царедворцам, стояли во главе и в конце сервировки, и, наконец, великое множество тарелок и блюд с синей китайской ивой, какие по причинам, потерявшимся во времени, были назначены парадной посудой и водились в каждом доме прихода.

На моей памяти то было самое замечательное проветривание. Когда все оказалось снаружи, у сада и двора сделался вид веселого базара, разметенного ураганом, Суся стояла посреди всего, чем они с Дуной владели. Полный свет дня делался все полнее. Уже стало ясно, что день будет примечательный. Но неотделим он был от мимолетности своей: ненадолго это – удача всегда ненадолго.

Суся непроницаемо обзревала накопленное за жизнь.

– Бывает же такое, – наконец заключила она и ушла внутрь, чтобы приняться за чистку.

Кристи помощник не требовался. И пусть я тогда этого не осознавал, он не был уполномочен нанимать себе помощника. Зачем он сказал, что уполномочен, осталось для меня загадкой – если только не считать того, что Кристи получал удовольствие от чужого общества.

То, что стало первой необратимой переменой в пейзаже после того, как возникшее у человека желание оказаться где-то еще расчертило все дорогами, – линия электропередач, придуманная в дублинских георгианских хоромах с высокими потолками, – теперь размечало суровые поля западного Клэр. Начали прибывать столбы Дермота Мангана, и их складировали

в разных местах на околице прихода, где они сделались игровыми горками для детворы, чьи матери вскоре открыли для себя радости отчистки вещей от креозота. Каждому столбу уже выдали подорожную на местные земли. Но власти с небрежной официальной имперскостью не смогли целиком учесть, что это означает – навязать нечто столь радикальное, как столбы и провода, просторам, какие оставались неизменными с самого сотворения, что, с учетом запутанности нашей особой истории, это значило – пустить кого-то или что-то на эту землю. Они пали жертвой классической ловушки самоуверенности и того самого обстоятельства, что по крайней мере со времен Пейла³⁹ одна половина страны не доверяет другой. Проморгали они и глубоко прочувствованное упрямство, необходимое для выживания на пористом западе. То, что Сельский Уполномоченный Харри Спех назвал отступничеством, имело место, и теперь кое-кто из этих мужланов упирается, сказал он полевым бригадам.

Долгая заминка была отчасти связана с этим. Между головокружительной ночью собрания в зале и появлением работников воплощение электрифицированного будущего Фахи успело поблекнуть. Многие, кого убедила риторика, обнаружили, что решения, рожденные в пылких речах, не живучи, и за то, что позволили себе вообразить чудеса, люди в глубине души чувствовали себя глупо и пристыженно.

Но у Спеха на изыски времени не было – а особенно терпенья на людей в глухих уголках. Не скрывая едкости, впитанной от Братьев в Лимерике, он сказал бригадам, что лучший способ разрешать любые споры – устыжение. *“Вы, значит, хотите отстать от времени, так? Вот что надо им говорить”*.

Скользкий то был заход – по трем причинам. Во-первых, отставанием от времени можно пугать горожанина, какой, допустим, живет с иллюзией, что не сидит в дальней заводи на солевом камне посреди Атлантики. Фаха знала, что она не только отстает от времени, а находится гораздо более позади – она отстает от всех времен вообще. *И что с того?* Во-вторых, вопрос человеческой ничтожности. Это внушалось Церковью с самого рождения. Опираясь на чисто аристотелевскую логику, епископы смекнули, что если люди чувствуют себя ничтожней, то Всесильный делается еще всесильней, и с прирожденной тягой к крайностям Фаха достигала в этом невиданных низин. Если на белом свете и есть что-то хорошее, мы, вероятно, его не заслуживаем – таково было основное воззрение. Кормак Танси, разумеется, пошел еще дальше: если есть на белом свете что-то плохое, он, Кормак Танси, его заслуживает. С приближением нового тысячелетия все это представление о ничтожестве начало исчезать – одновременно с Церковью. Но в те времена представление о ничтожестве было неоспоримым. И, наконец, сельчане с естественной осторожностью тех, кто живет в условиях неопределенности времен года и краткости жизненных циклов, понимали, что земле они лишь хранители, а потому переменам неизменно противились.

Как оно было заведено традицией, но противно натуре Спеха, подобной часовому механизму, ввод в эксплуатацию отставал от графика. По всем фронтам случались препятствия, помехи, задержки, и от этих испытаний у Спеха воспалялись десны и стекленели глаза. Обращаясь к полевым бригадам, он бесновался, пламя лица расплескивалось до самых корней рыжих волос и до коротких рук, не сгибавшихся, как у твидового пингвина.

– Если хоть один сельчанин заявит, что не даст вкопать столб, если запрет хоть одни ворота, без всяких церемоний сообщайте, что сельчанин тот ответит по всей строгости закона. Скажите ему, что прет он против Государства со всеми его министерствами, служащими и юстициями и не только навлечет на себя расходы на оных, но и уронит свой приход на нижайшие ступени.

³⁹ Пейл, Английский пейл (*The Pale*) – сравнительно небольшая территория, прилегавшая к Дублину со времен нормандского завоевания Ирландии в XII в. и до XVI в., подчинявшаяся английскому монарху; с XVI в. эта территория стала плацдармом решительного расширения английской власти на острове и его покорения.

Кристи присутствовал и слышал все это – и поведал мне теперь, когда мы отправились, благоразумно ведя велосипеды пешком, обходить сельчан, подтверждать их автографы на подписном листе и сообщать, что бригады появятся сразу после Пасхи.

– Сегодня мы посланники Государства, Ноу, – провозгласил он торжественно и похлопал выданную Государством кожаную папку, в которой хранились имена подписавшихся.

Государство же, по правде говоря, замордовано было головной болью.

Утро продолжило проясняться, последняя флотилия облаков вот только-только отчалила из устья. Дул тот легкий ветерок, что в апреле может показаться красноречивым. Помню я птиц, внезапно оживленные их стаи, по десять, по двадцать разом в полете, росчерком волшебника оголявших одно дерево и находивших другое.

Прожив целую жизнь, как такое упомнишь? Если по правде, не то чтобы помнишь. Однако полагаешь, будто помнишь, – и, может, так и есть. Сейчас хватает и этого. Главное же вот в чем: мне кажется, в любой жизни есть сколько-то блистательного времени, – времени, когда всё ярче, во всем больше пыла и безотлагательности, больше *жизни*, наверное. В моей такое время было.

Мы взобрались на холм возле форта, остановились у владений Матта Клери, инакомыслящего. Оставили велосипеды у коровников. Матт был на гумне и вышел настороженно, за ним – пытливая делегация кур. У него было изможденное лицо крестьянина в пору отёла, глаз не видать от недосыпа и тесного взаимодействия с потрохами. Кто я такой, ему известно, сказал он, а это еще что за человек?

– От Комиссии по электроснабжению, – сказал я.

Кристи смотрел, как Матт поджигает губы и сдает головой назад на несколько дюймов, словно все то, что видит перед собой, не вызывает у него доверия. Матт смотрел на синий костюм. На него же смотрели и куры.

– Да ладно? – проговорил Матт. Ему было пятьдесят, исключительный на весь приход человек – из-за отношений с семьей Дохарты, в которой он ухлестывал за матерью, а женился на дочери. Обе жили с ним – вместе с курами.

– Мы навещаем тех, по чьим землям предстоит тянуть линию. Столбы уже здесь, скоро явятся бригады. Вы подписали разрешение, – сказал Кристи, копаясь в папке.

– Ой ли?

Неожиданность. Кристи проверил анкету, показал Матту его подпись.

– Ваша?

Матт пригляделся, откинул голову, пожал плечами.

– Кто ж разберет?

Прямота в фахской натуре не значилась. На то были причины – исторические, географические, политические, общественные, лингвистические, вероятно, и биологические, – и все они пошли в ход у Матта Клери в голове, позади его тусклых серых глаз. Как много кто в приходе, он был мастером сокровенности и с личными сведениями скрупулезен. Назвать его фанатиком было б не по-христиански. Загнанный в тупик Кристи не спешил и не пер на рожон.

– Так, – произнес он, кивнул и глянул на подписной лист. Сколько-то времени разглядывал его, а затем протянул Матту: – Чья это может быть подпись, как думаете? Вот тут, где сказано “Матт Клери”?

Матт посмотрел на написанное его рукою. Отогнал курицу, чтоб не клевала его в брючину, влез ногой в копошение мух.

– Не ваш ли почерк, а? – спросил Кристи.

– Не знаю. Дайте ручку, – сказал Мат, и Кристи протянул ему ручку, Матт провел три опрятные черты поперек своей подписи. – По-моему, нет. – И засим вернул лист.

Мы вышли со двора без всяких слов, пока не добрались до велосипедов. За ворота куры не пошли. Внизу, в деревне, Том Джойс звонил к “Ангелу Господню” – словно бросали в небо серебряные кольца одно за другим.

– Люди – создания глубже, чем способны люди постичь. – Кристи забрался на велосипед. – Таково одно из доказательств Господа, – продолжил он, – других объяснений нету. – Улыбнулся, оттолкнулся и покатился, не трогая педалей, вперед меня вниз по склону, синий пиджак плескал крыльями; махина Кристи летела мимо изгородей, эдакая довольная птица, просто крупная.

С учетом комплекции и годов, вверх по холмам, склонам и почти любым постепенным подъемам верхом на велосипеде Кристи не ездил. В основном мы шли пешком.

Отправились к Тому Пайну, к его маленькому домику-плюхе с никудышной трубой: в плохую погоду дым пер в окно, в хорошую – из передней двери, но что так, что эдак на него не обращали внимания.

В ту пору многочисленны были дома тех, кто почти все время торчал на улице, этого я не учитывал – а также и того, как электричество изменит привычки, накопленные за века. Мы побывали у Марти Мака, у Маррианов и Коллинзов и столкнулись с самими разными откликами – от открытого восторга до замкнутого отказа. В большинстве домов царил оживленный пасхальный дух, а в невиданном солнечном свете было в том духе нечто *чрезвычайное*. Снаружи плескали на веревках одежды. Внутри в спешке обновления применялись банки с краской, затирки, разведенные водою сода и уксус. То же происходило и в Рождество – было вот это сокровенное ощущение грядущего праздничного дня, словно, едва восстанет в воскресенье, Иисус, возможно, заглянет и лично. Зеркало, каким для души была исповедь, – столь же незапятнанными должны были стать и все поверхности. Я, вероятно, не единственный, кто, двигаясь от дома к дому и свидетельствуя всему этому, задумался бы: какие мыла и порошки нужны, чтоб отмыть мой дух? На что вы бы сказали: *Тебе было всего семнадцать* или, может, *Это оттого, что тебе было всего семнадцать*.

Невесть почему так оно предписано, однако в Фахе беление было уделом женским. Тучи известки замешивали в ведрах и мазали этим дома пожилыми малярными кистями, чья щетина зачесана была износом на одну сторону, и списаны они были на эту последнюю свою службу. Известь ложилась серой, в потеках и пятнах, однако, подобно старикам, высыхая, белела. Картина, достойная созерцания: побеление окрестностей.

Мы вели велосипеды вдоль владений Гриффина, уловили хмурый взгляд самого Гриффина, у которого кровь свертывалась внутри от мысли, что электричество не пройдет по его земле, а значит, не только не получит он компенсации, но и сосед его Карти обогатится. Соседи, как Иисусу было известно, бывают немалым испытанием христианству в человеке.

Вскоре миновали мы большой дом миссис Дины Блаколл, фахской знатной дамы, ныне в преклонных годах, чей рассудок помутился, и как она выживала, я толком не ведаю. Ум ее уподобился книжному шкафу, откуда извлекли полки, и книги теперь лежали в полной неразберихе. Никуда оттуда не девались истории ее жизни, просто были перемешаны между собою. Кристи тормознул у ржавых ворот подъездной аллеи Блаколл – вернее, при чисто условных тормозах, воткнул каблучки в землю – и, пунктирно содрогаясь, остановился. Уложил велосипед в канаву.

– Этих в списке нет, – сказал я. Но Кристи уже шагал по аллее.

Миссис Блаколл была во дворе. Крошечная женщина, ей-ей, но грозная. Под накладными ресницами безупречной конструкции глаза ее таили торжествующую искру человека, обманувшего смерть. То ли от чего-то лучезарного в характере ее, то ли от избытка кремов лицо ее казалось навазелиненным, черты его безупречны, но того и гляди соскользнут, если не будет держать она голову слегка обращенной к небесам. Волосы плыли в воздухе дымчатым облаком белизны, в нескольких местах редели, и просвечивал, как яйцо, ее череп, нежный и

уязвимый. На ней было изящное платье далекого прошлого, шафранное, из тафты – кажется, так это называется, – несколько петель разнообразных ожерелий, что казались размотавшейся бледной катушкой, и атласные балетки, некогда серебряные, но патина растрескалась, как фарфор, а подметки обветшали от грязи бытия. Разглядывать руки ее было бы жестоко – распухшие, узловатые, с непомерными костяшками, но на каждом пальце по кольцу.

– У вас прелестные кольца, – заметил Кристи.

Она просияла и чуть подалась вперед.

– Их нельзя снять, – прошептала она. – Украсть их можно только вместе с моими пальцами. – И вполне счастливо улыбнулась собственному остроумию, а затем пропела сколько-то слов по-итальянски – то ли о грабителях, то ли о кольцах, трудно сказать.

Возможно, часовой механизм церковного календаря, встроенный в нее, оставался исправен, а может, всплыла детская память о пасхальном обряде, когда какой-нибудь конюх белил стойла и сараи, ибо имелось при ней ведро скверно замешанной побелки, и миссис Блаколл, когда мы подошли, занималась именно этим. Кляксы побелки виднелись там и сям на высоте четырех футов – у младенца младше некуда получилось бы лучше.

– Мы вовсе не грабители, – сказал Кристи. – Мы вам поможем. – Тут он снял пиджак, повесил его на ворота и принялся закатывать рукава.

– О, спасибо вам, Фредерик, – произнесла миссис Блаколл.

Я собрался сказать: *А как же подписной лист?* В этот дом нам заходить не требовалось, но Кристи взялся за кисть и протянул ее мне.

– Ты давай сверху, а я буду снизу, – сказал он.

Миссис Блаколл пришла в восторг. Всплеснула руками в кольцах.

– Мистер Чоппин держит белых голубок, – сказала она, глядя, как Кристи размешивает побелку. – Прекрасных белых голубок.

– Неужто?

– О да. – Она запрокинула голову – наверное, чтобы глянуть, где они тогда порхали.

Кристи тоже глянул вверх.

– Красиво, – произнес он.

Женщины любят смотреть, как мужчины работают, – как мужчины любят смотреть, как женщины танцуют. Есть в этом инаковость и таинство. Миссис Блаколл стояла и смотрела, как мы работаем, – вернее, как я работаю, а Кристи руководит: “Можно ж прямо до самого низа прокрасить... Не помешает вон там еще разок пройтись”, эта роль была для него естественна. Он знал, что похвала растворяет сопротивление.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.